

БИБЛИОТЕКА АЛЕКСЕЯ МЕДВЕДЕВА

ТАЛЕЙРАН

«Жизнь замечательных людей»

Евгений Викторович Тарле

Текст приводится по изданию:

Е.В.Тарле «Талейран».

Изд-во «Молодая гвардия»,

Москва 1939г.



Введение

Князь Талейран-Перигор своей личностью и своей исторической ролью всегда повелительно приковывал к себе внимание исследователей. Особенно оживился интерес к нему в исторической литературе именно после мировой войны и Версальского мира. Этот интерес не случаен. Он имеет совершенно определенные основания. Талейрана считали и называли всегда величайшим мастером дипломатического искусства, «королем дипломатов», а главное — первым по времени пионером и основоположником новейшего дипломатического творчества, новых методов и приемов дипломатии. Раньше чем перейти к рассказу о жизни и о характерных свойствах этого человека, остановимся на вопросе: каково было отличие новой, талейрановской дипломатии от традиционной деятельности его предшественников, старых виртуозов этого искусства. В немногих словах это отличие может быть охарактеризовано так: Талейран был дипломатом начинавшейся эпохи буржуазного владычества, эпохи победоносного наступления капитала и крушения феодально-дворянского строя, и именно Талейран первый уловил, в каком направлении следует видоизменить старые дипломатические навыки.

Следует сказать, что новая история дипломатии начинается, в сущности, лишь с XIV–XVI столетий, с образования и постепенного усиления больших «национальных» монархий, когда впервые стали возможны крупные внешние столкновения между державами. Во времена мелких феодальных драк между помещиками-государями раннего средневековья дипломатии в точном смысле слова почти не существовало. Полная фактическая независимость феодалов от призрачной королевской или императорской власти превращала Европу в средние века (до XV–XVI столетий) в конгломерат из нескольких тысяч карликовых «государств», непрерывно ссорившихся, мирившихся, снова дравшихся, снова мирившихся, и все это с непосредственной целью урвать лишний кус земли, или ограбить соседний замок, или угнать скот, принадлежащий чужой деревне.

В XVI–XVII веках, когда буржуазия стала уже постепенно поднимать голову и кое-где (в Голландии, потом в Англии) определенно влиять на дела, когда широко развернулась погоня европейских держав за заморскими богатыми странами, когда захват и раздел Америки, Индии, Индонезии стал на очередь дня, — искусная дипломатия как средство подготовки войны в наиболее выгодных условиях сделалась могущественным орудием успеха для любого из соперничавших государств.

Но именно на истории дипломатии этих последних предреволюционных столетий мы наблюдаем любопытнейшее подтверждение справедливости старинного изречения о том, что часто «мертвый хватает живого», что старые навыки далеко не сразу уступают место новым приемам и что иной раз основные условия работы давно уже изменились, а работающие не хотят или не в состоянии этого понять.

Возьмем наиболее ярких представителей старорежимной дипломатии. Если исключить гениального шведа, канцлера первой половины XVII века Аксея Оксеншерну, — то что нас поражает и в Шуазеле, французском министре середины XVIII столетия, и в графе Верженне, и в талантливом австрийском канцлере Каунице, не говоря уже о людях средних? Все они, руководители политики великих держав, сплошь и рядом ведут себя, как прежние майордомы, «палатные мэры», или как добрые, бравые, рачительные приказчики одного из былых феодалов-помещиков. Понимание постоянных, длительно действующих исторических потребностей государства им почти всегда чуждо. Это люди сегодняшнего дня и сегодняшних капризов и настроений их повелителя. И вместе с тем слова «двор» и «правительство» для них всегда и во всех отношениях совпадают так же, как слова «двор» и «государство». Они служат абсолютному монарху, но лишь постольку, поскольку сам этот

абсолютный монарх служит дворянству, аристократической, крупноземлевладельческой верхушке. Горе ему, если он попробует хотя бы робко отклониться от этой линии! Когда Иосиф II, император австрийский, вздумал только коснуться крепостного права, его дипломаты предали и продали его. Когда глава португальского правительства министр Помбаль попробовал проводить прежние буржуазные антифеодальные реформы, португальские дипломаты за его спиной стали подкапываться под его политику и прозрачно намекать и англичанам, и испанцам, что хорошо бы сократить слишком ретивого реформатора. Внешняя политика дипломатии в этой отрасли государственной службы попала в прочное потомственное и вполне монопольное обладание к аристократическим родам; их представители, естественно, смотрели на эту монополию, как на незаменимое средство поддерживать интересы своего класса всеми могущественными силами государственной внешней политики.

И вот, сначала во время революции, потом при вышедшем из недр революции военном диктаторе Франции, а вскоре и повелителе Европы, на сцене, в одной из первых ролей в великой исторической драме, появляется утонченный, пронизательнейший, талантливейший аристократ, который силой своего необычайного ума не только сразу же вполне безошибочно предугадывает неизбежную политическую гибель своего собственного класса и полное торжество чужого и антипатичного ему лично класса буржуазного, но знает наперед, что в этой борьбе будут всякого рода остановки, попятные шаги, новые порывы, новые превратности в борьбе сторон, и всегда предугадывает наступление и правильно судит об исходе каждой такой схватки. Это чутье всегда заставляло его вовремя становиться на сторону будущих победителей и пожинать обильные плоды своей пронизательности. Что такое убеждения — князь Талейран знал только понаслышке, что такое совесть — ему тоже приходилось изредка слышать из рассказов окружающих, и он считал, что эти курьезные странности (убеждения и совесть) могут быть даже очень полезны, но не для того, у кого они есть, а для того, кому приходится иметь дело с их обладателем. «Бойтесь первого движения души, потому что оно, обыкновенно, самое благородное», учил он молодых дипломатов, которым напоминал также, что «язык дан человеку для того, чтобы скрывать свои мысли».

Но предавая и продавая по очереди за деньги и за другие выгоды всех, кто пользовался его услугами, менявшийся, как хамелеон, не продав на своем веку только родную мать, — да и то, по выражению одного враждебного ему журналиста, исключительно потому, что на нее не на-



Рисунок 1: Людовик XVI. (гравюра Мозеса)

шлось покупателей, — князь Талейран никогда по существу не изменял только этому прочно победившему, чуждому ему лично буржуазному классу, и именно потому, что считал победу буржуазии несокрушимо прочной. Даже когда он совершил в 1814 году очередное предательство и стал на сторону реставрации Бурбонов, то он изо всех сил старался втолковать в эти безнадежные эмигрантско-дворянские головы, что они могут сохранить власть исключительно при том условии, если будут своими руками делать нужную новой, послереволюционной буржуазии политику.

Но Талейран оказался человеком новой, буржуазной эпохи не только потому, что всю жизнь, изменяя всем правительствам, неуклонно служил и способствовал упрочению всего того, чего достигла крупная буржуазия при революции и что она старалась обеспечить за собой при Наполеоне и после Наполеона. Даже в самых приемах своих, в методах действия Талейран был дипломатом этой новой, буржуазной эпохи. Не аристократический «двор» с его групповыми интересами, не дворянство с его феодальными привилегиями, а новое, созданное революцией буржуазное государство с его основными внешнеполитическими потребностями и задачами — вот что обозначал Талейран термином «Франция».

И он знал, что все эти затейливые придворные и альковные интриги, все эти маскарадные посылки эмиссаров и негласных сотрудников, все эти расчеты на влияние такой-то любовницы или на религиозное суеверие такого-то монарха, — что все эти ухищренности и погремушки дипломатии XVIII столетия теперь уже не при чем и что наступило время, когда нужно считаться и у себя, и в чужой стране с банкиром, а не с королевской фавориткой, с биржевыми облигациями, а не с перехваченными интимными записочками, с такими дуэлями, на которых дерутся при помощи таможенных тарифов, а не при помощи рыцарских рапир. Сообразно с этим он и действовал непосредственными словесными заявлениями, нотами, меморандумами, посылкой официально аккредитованных дипломатических представителей и старался влиять при этом либо демонстрацией готовности к военным действиям (когда это было уместно), либо ловким, своевременным проведенным маневром сближения с той или иной великой державой. И в этом он оказался замечательным мастером. Слуга буржуазного государства, Талейран резко отличался от Меттерниха, дипломата старой школы, абсолютно не понимавшего, что первая половина XIX столетия ничуть не похожа ни на середину, ни даже на конец XVIII века; он нисколько не походил и на русского канцлера Карла Васильевича Нессельроде, который гордость свою полагал в том, что был всю жизнь верным камердинером Николая I. Талейран не похож и на Бисмарка, который, правда, никогда не был ни вором, ни взяточником, — каковым был и остался до конца дней Талейран, — но все-таки не изжил до конца некоторых вреднейших для дипломата буржуазной эпохи иллюзий. Бисмарк, например, долго думал, что франко-русский союз абсолютно невозможен, потому что царь и «Марсельеза» непримиримы, и когда Александр III выслушал на кронштадтском рейде в 1891 году «Марсельезу» стоя и с обнаженной головой, то Бисмарк тогда только понял свою роковую ошибку, и его нисколько не утешило глубокомысленное разъяснение этого инцидента, следовавшее с российской стороны, — что царь имел в виду не слова, а лишь восхитительный мотив французского революционного гимна. Талейран никогда не допустил бы такой ошибки: он только справился бы во-время и в точности о потребностях русского казначейства и о золотой наличности Французского банка и уже года за два до Кронштадта безошибочно предугадал бы, что царь без колебаний почувствует и одобрит музыкальную прелесть «Марсельезы».

Поскольку Талейран, совершенно независимо от своих всегда своекорыстных субъективных мотивов, способствовал упрочению победы буржуазного класса, постольку он объективно сыграл положительную,

прогрессивную историческую роль. Его личные качества возбуждали негодование, смешанное с омерзением, в честных натурах, вроде Жорж-Санд. Он казался каким-то «духом зла» многим, вроде члена Французской академии Брифо, который, при общем смехе, саркастически утверждал, будто дьявол сказал Талейрану, когда тот, прибыв после смерти в ад, явился к нему с визитом: «Милейший, благодарю вас, но сознайтесь, что вы все-таки пошли еще несколько дальше моих инструкций!» Но нас тут больше интересует другое.

Я указывал уже, что Талейрана стали усердно поминать после мировой войны и поминают его чаще всех именно критики современных дипломатов. «И не стыдно Жоржу Боннэ, который сидит в кресле великого Талейрана, что он так позорно был обманут Гитлером!» читали мы совсем недавно, в январе 1939 года, во французской радикальной печати. Тут все неверно. Во-первых, министр иностранных дел в кабинете Даладье Жорж Боннэ вовсе не был «обманут» Гитлером, а сознательно и с полнейшей готовностью стакнулся с Гитлером и умышленно ему помог. Во-вторых, нынешний критик действий Жоржа Боннэ не понимает (или не хочет понять), что Талейран жил и действовал в эпоху круто идущего в гору капиталистического развития, в эпоху начавшегося и быстро прогрессирующего расцвета буржуазного класса Франции, когда этот класс еще мог и хотел отстаивать свои интересы и свои претензии пред лицом буржуазии других стран всеми имеющимися у него средствами: то огнем и мечом, то дипломатическим искусством. И тогда к этому классу шли на помощь самые могучие воины, самые блестящие дипломаты, самые нужные ему таланты во всех сферах политической деятельности, — к нему шли Наполеоны и Талейраны. А теперь это класс, который уже думает не о борьбе с чужой буржуазией, но о союзе с ней, чтобы вместе ударить на общего врага, на пролетариат. Дело вовсе не в различии размеров умственных средств, дело вовсе не в том, что сравнивать в области дипломатического искусства того же Жоржа Боннэ с Талейраном — то же самое, что сравнивать в области поэзии Тредьяковского с Пушкиным. Дело в совсем разных заданиях, которые ставила могучая, молодая, хищная, алчная буржуазия своим слугам в начале XIX века и которые дряхлая, гибнущая, разбогатевшая, пресытившаяся, трясущаяся над своими золотыми миллиардами буржуазия ставит им сейчас.

Нельзя требовать от человека, чтобы он одерживал дипломатические победы, когда его, в лучшем случае, напутствуют такими словами: «Делай вид, что борешься с врагом, с Гитлером, но помни, что очень сильно его бить все-таки не следует, потому что он, чего доброго, и всерьез мо-

жет грохнуться на землю, — а без него что мы тогда будем делать с мировой революцией?»

Традиции лукавства, непрерывных и разнохарактерных обманов, полной бессовестности, предательского нарушения и буквы и смысла самых торжественных трактатов и обещаний — все это благополучно передавалось буржуазным дипломатам от Талейрана через поколение в поколение вплоть до сегодняшнего дня. И уже поэтому советский читатель, который никогда не должен забывать о вражеском внешнем капиталистическом окружении, имеет основание желать, чтобы его ознакомили с исторической фигурой Талейрана и с его биографией.

Но, знакомясь с этим в самом деле замечательным индивидуумом, читатель должен помнить, что история положила непроходимую пропасть между *объективными* результатами деятельности Талейрана и результатами ухищрений нынешних его последышей.

«Социальный заказ», который буржуазия Франции *некогда* дала Талейрану, был по самому существу прогрессивен, «социальный заказ», который она *теперь* дает талейрановским потомкам, ведет прямо и непосредственно в черную ночь озверелого деспотизма и ярого мракобесия. Талейран помогал буржуазии хоронить феодальное средневековье — и ему суждены были успехи. Его нынешние наследники стремятся во имя спасения той же буржуазии круто повернуть историю вспять и изо всех сил помогают в Европе фашистским варварам, которые нагло воскрешают наихудшие стороны того же давно сгнившего средневековья. Немудрено, что этих последышей постигают на их безнадежном пути только позорные неудачи и разочарования.

Глава первая

**ТАЛЕЙРАН ПРИ «СТАРОМ ПОРЯДКЕ»
И РЕВОЛЮЦИИ**

Фигура князя Талейрана в памяти человечества высится в том ограниченном кругу людей, которые если и не направляли историю по желательному для них руслу (как это долго представлялось историкам идеалистической и, особенно, так называемой «героической» школы), то являлись характерными живыми олицетворениями происходивших в их эпоху великих исторических сдвигов. С этой точки зрения биография Талейрана еще ждет своего исследователя, чтобы заполнить в научной историографии тот пробел, который, например, так блистательно заполнил в литературе о Наполеоне III Маркс в старой, но не стареющей книжке о «Восемнадцатом брюмера Луи Бонапарта».

Краткая характеристика, которую я попытаюсь тут дать, не преследует и не может преследовать цели представить вполне исчерпывающий анализ исторического значения личности Талейрана.

Князя Талейрана называли не просто лжецом, но «отцом лжи». И действительно, никто и никогда не обнаруживал такого искусства в сознательном извращении истины, такого умения при этом сохранять величаво-небрежный, незаинтересованный вид, безмятежное спокойствие, свойственное лишь самой непорочной, голубиной чистоте души, никто не достигал такого совершенства в употреблении фигуры умолчания, как этот, в самом деле необыкновенный, человек. Даже те наблюдатели и критики его действий, которые считали его ходячей коллекцией всех пороков, почти никогда не называли его лицемером. И действительно, этот эпитет к нему как-то не подходит: он слишком слаб и невыразителен. Талейран сплошь и рядом делал вещи, которые, по существу, скрыть было невозможно уже в силу самой природы обстоятельств: взял с американских уполномоченных взятку сначала в два миллиона франков, а потом, при продаже Луизианы, гораздо больше; почти ежедневно брал взятки с бесчисленных германских и негерманских мелких и крупных государей и державцев, с банкиров и кардиналов, с подрядчиков и президентов; потребовал и получил взятку от польских магнатов в 1807 году; был фактическим убийцей герцога Энгиенского, искусно направив на него взор и гнев Наполеона; предал и продал сначала католическую церковь в пользу революции, потом революцию в пользу Наполеона, потом Наполеона в пользу Александра I, потом Александра I в пользу Меттерниха и Кэстльри; способствовал больше всех реставрации Бурбонов, изменив Наполеону, а после их свержения помогал больше всех скорейшему признанию «короля баррикад» Луи-Филиппа английским правительством и остальной Европой, и так далее без конца. Вся его жизнь

была нескончаемым рядом измен и предательств, и эти деяния были связаны с такими грандиозными историческими событиями, происходили на такой открытой мировой арене, объяснялись всегда (без исключения) до такой степени явно своекорыстными мотивами и сопровождались так непосредственно материальными выгодами для него лично, что при своем большом уме Талейран никогда и не рассчитывал, что простым, обыденным и общепринятым, так сказать, лицемерием он может кого-нибудь в самом деле надолго обмануть уже после совершения того или иного своего акта. Важно было обмануть заинтересованных лишь во время самой подготовки и затем во время прохождения дела, без чего немислим был бы успех предприятия. А уж самый этот успех должен быть настолько решительным, чтобы гарантировать князя от мести обманутых, когда они узнают о его ходах и проделках. Что же касается так называемого «общественного мнения», а еще того больше «суда потомства» и прочих подобных чувствительностей, то князь Талейран был к ним совершенно равнодушен, и притом вполне искренно, в этом не может быть никакого сомнения.

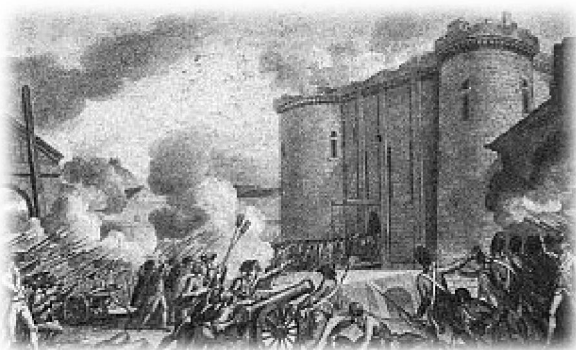


Рисунок 2: Взятие Бастилии 14 июля 1789 года (гр. Гельмана с рис. Моне).

Вот эта-то черта непосредственно приводит нас к рассмотрению вопроса о той позиции, которую занял князь Талейран-Перигор, герцог Беневентский и кавалер всех французских и почти всех европейских орденов, в эпоху тех повторных штурмов, которым в продолжение его жизни подвергался родной ему общественный класс — дворянство — со стороны революционной в те времена буржуазии.



Рисунок 3: Марсельеза. (Гравюра Леру с рис. Шефера).

Талейран родился, когда только что умер Монтескье и только успели выступить первые физиократы, когда уже гремело имя Вольтера и начинал Жан-Жак Руссо, когда вокруг Дидро и Даламбера уже постепенно сформировался главный штаб Энциклопедии. А умер в 1838 году, в эпоху полной и безраздельной победы и установившегося владычества буржуазии. Вся его жизнь протекала на фоне упорной борьбы буржуазии за власть и — то слабой, то свирепой — обороны последышей феодального строя, на фоне колебаний и метаний римско-католической церкви между представителями погибающего феодального строя и побеждающими буржуазными завоевателями, действовавшими сначала во Франции гильотиною, потом вне Франции — наполеоновской великой армией. Что, кроме дворянства, буржуазии и церкви, есть еще один (голодающий, а потому опасный) класс людей, который, начиная с апреля 1789 года, с разгрома фабрикантов Ревельона и Анрио, и кончая прерием 1795 года, много раз выходил из своих грязных троглодитовых пещер и нищих чердаков Сент-Антуанского и Сен-Марсельского предместий и, жертвуя жизнью, своим вооруженным вмешательством неоднократно давал событиям неожиданный поворот, — это князь Талейран знал очень хорошо. Знал также, что после 1-го (а особенно после 4-го) прерия 1795 года эти опасные голодные люди были окончательно разбиты, обезоружены и загнаны в свои логовища, причем эта победа оказалась настолько прочной, что вплоть до 26 июля 1830 года, целых тридцать пять лет сряду, ему, Талейрану, можно было почти вовсе их не принимать уже в расчет при своих собственных серьезных, то-есть карьерных, соображениях и выкладках. Это он твердо усвоил себе: знал также, что и после 26 июля 1830 года с этим внезапно вставшим грозно по-

сле тридцатипятилетнего оцепенения, голодающим по-прежнему, «чудовищем» должно было как-то возиться и считаться всего только около двух недель, но что уже с 9 августа того же 1830 года вновь появились те знакомые элементы, с которыми приличному и порядочному человеку, думающему только о своей карьере и доходах, всегда можно столкнуться и сторговаться; появились новый король и новый двор, однако с прежними банкирами и прежним золотом. И опять все пошло как по маслу вплоть до мирной кончины в 1838 году, которая одна только и могла пресечь эту блистательную карьеру и которая поэтому вызвала, как известно, тогда же наивно-ироническое восклицание: «Неужели князь Талейран умер? Любопытно узнать, зачем это ему теперь понадобилось!» До такой степени все его поступки казались его современникам всегда преднамеренными и обдуманными, всегда целесообразными с карьерной точки зрения и всегда, в конечном счете, успешными для него лично.

Итак, рабочий класс, кроме указанных моментов, можно ему не принимать во внимание, рассуждал Талейран. Крестьянство, то-есть та часть его, которая является серьезной силой, в политике активно не участвует и пойдет за теми, кто стоит за охрану собственности и против воскрешения феодальных прав. Значит, остаются три силы, с которыми Талейрану нужно так или иначе считаться: дворянство, буржуазия и церковь. Он только попозже окончательно разглядел, что церковь в игре социальных сил играет лишь подсобную, а не самостоятельную роль; но, впрочем, уже с 1789 года при самых серьезных своих шагах он никогда не принимал церковь за власть, способную сыграть, в самом деле, роль ведущую и решающую.

Дворянство и буржуазия — вот две силы, находящиеся в центре событий, те силы, из которых каждая в случае победы может осыпать кого захочет золотом, титулами, лентами, звездами, одарить поместьями и дворцами, окружить роскошью и властью. Но важно лишь не ошибиться в расчете, не поставить ставку на дурную лошадь, по стародавнему спортивному английскому выражению. Талейран в своем выборе не ошибся.

II

Князь Шарль-Морис Талейран-Перигор появился на свет 2 февраля 1754 года в Париже, в очень знатной, аристократической, но обедневшей семье. Предки его родителей были при дворе еще с X века.

У него было нерадостное детство. Его никто не любил, никто на мальчика не обращал никакого внимания. Его мать постаралась сбить его поскорее с рук, чтобы он не мешал ее светским развлечениям.

Ребенка отправили к кормилице, жившей за Парижем, и просто забыли его там на время. Первые четыре года своей жизни маленький Шарль провел у этой чужой женщины, которая очень мало была занята уходом за ним. Однажды, уходя из дому, она посадила ребенка на высокий комод и забыла его там. Он упал и настолько сильно повредил себе ногу, что остался хромым на всю жизнь, причем хромал так, что на каждом шагу его туловище круто клонилось в сторону. Передвигаться он мог с тех пор до конца жизни только при помощи костыля, с которым не расставался, и ходьба была для него довольно мучительным процессом. Его правая сломанная нога была всегда в каком-то специально сделанном кожаном сапоге, похожем на кругловатый футляр.

Взяв Шарля от кормилицы, родители поместили его у одной старой родственницы, княгини Шалэ. Мальчик тут в первый раз в жизни почувствовал, что его любят, и сейчас же привязался к своей старой тетке. «Это была первая женщина из моей семьи, которая выказала любовь ко мне, и она была также первой, которая дала мне испытать, какое счастье полюбить. Да будет ей воздана моя благодарность... Да, я ее очень любил. Ее память и теперь мне дорога, — писал Талейран, когда ему было уже шестьдесят пять лет. — Сколько раз в моей жизни я жалел о ней. Сколько раз я чувствовал с горечью, какую ценность для человека имеет искренняя любовь к нему в его собственной семье».

Он всей детской душой привязался было к старухе, но пробыл у нее всего полтора года — шести лет отроду его навсегда увезли от старой женщины, единственного существа, которое его любило и которое он любил в своем детстве. Повидимому, чем больше он рос, тем острее становилось в нем сознание обиды и чувство горечи по отношению к забросившим его родителям, и воспоминание о детстве, из которого он вышел искалеченным физически, навсегда осталось какой-то душевной травмой у этого человека. При всей его скупости на слова это можно рассмотреть довольно ясно.

Забрав мальчика от тетки, родители распорядились поместить его в коллеж, в Париже. Они не полюбопытствовали даже взглянуть на ребенка, семнадцать суток проводшего в дилижансе: «Старый слуга моих родителей ожидал меня на улице д'Анфер, в бюро дилижансов. Он меня отвез прямо в коллеж... В двенадцать часов дня я уже сидел за столом в столовой коллежа», вспоминает Талейран.

Он никогда не забыл и не простил. «То, как проходят первые годы нашей жизни, — влияет на всю жизнь, и если бы я раскрыл вам, как я провел свою юность, то вы бы меньше удивлялись очень многому во мне», говорил он уже в старости придворной даме императрицы Жозефины госпоже де Ремюза.

Он жил на полном пансионе в коллеже и только раз в неделю посещал дом родителей. Когда он двенадцати лет отроду заболел оспой, родители его не посетили. «Я чувствовал себя одиноким, без поддержки, — вспоминает он, — я на это не жалуясь». А не жалуется он потому, что, по его словам, именно это чувство одиночества и привычка к самоуглублению способствовали зрелости и силе его мысли.

Учился он не очень прилежно, но пятнадцати лет отроду все же окончил курс коллежа и перешел в духовную семинарию при церкви Сен-Сюльпис. Родители решили сделать его аббатом, потому что к военной службе он не годился из-за искалеченной ноги.

Он не желал поступать в духовное звание, терпеть не мог длиннополой черной сутаны, которую на него нацепили по выходе его из коллежа, но делать было нечего. Отец и мать даже и не опросили, желает ли он быть священником или не желает. Духовное звание было способом подкармливать тех дворянских сыновей, которые почему-либо не годились для военной службы и у которых не было достаточно денег, чтобы «купить» себе какую-нибудь почетную и прибыльную должность по гражданскому ведомству.

Так окончилось отрочество и наступила молодость Талейрана. Он вступил на жизненную арену холодным, никому не верящим, никого не любящим скептиком. Самые близкие родные оказались по отношению к нему бессердечными эгоистами. На себя и только на себя, и притом не на свои физические силы, а исключительно на свою голову возлагал юноша все свои надежды. Умерла любившая его старая тетка, потухло с ней единственное светлое воспоминание безрадостных детских лет. Кругом были только чужие люди, начиная с наиболее чужих, то-есть с собственных его родителей. А чужие люди — это конкуренты, враги, волки, если показать им свою слабость, но это — послушные орудия, если уметь быть сильным, то-есть если быть умнее их.



Рисунок 4: Мирабо (гравюра Мейсонье с рис. База)

Такова была основная руководящая мысль, с которой Талейран вышел на жизненную дорогу.

Он начинал жизнь и с первых же шагов обнаружил те основные свойства, с которыми сошел в могилу. В двадцать один год он был точь-в-точь таким, как в восемьдесят четыре года. Та же сухость души, черствость сердца, решительное равнодушие ко всему, что не имеет отношения к его личным интересам, тот же абсолютный, законченный аморализм, то же отношение к окружающим: дураков подчиняй и эксплуатировуй, умных и сильных старайся сделать своими союзниками, но помни, что те и другие должны быть твоими орудиями, если ты в самом деле умнее их, — будь всегда с хищниками, а не с их жертвами.

Окончив обучение в семинарии Сен-Сюльпис и посвященный в духовное звание, Талейран стал искать прибыльного аббатства, а пока отдался любовным приключениям. Им не было счета. Он вовсе не был хорош собой, был искалечен, но женщин он брал своим всепобеждающим умом, — и не они его покидали, а он их покидал первый, и они говорили

потом, что после него им было со всеми скучно. Связи у него были в самых аристократических кругах. Все женщины, без исключения, были для него лишь орудием наслаждения или выгоды — и только. За всю свою жизнь он встретил — да и то уже в старости — лишь одну, к которой привязался надолго: это была жена его племянника, герцогиня Дино. В молодости и зрелом возрасте у него подобных привязанностей не было. «Отчего вы так грустны? — спросила его раз фаворитка Людовика XV, госпожа Дюбарри, когда он в числе других знатных молодых людей был в ее салоне. — Неужели у вас нет ни одного романтического приключения?» — «Ах, мадам, — вздохнул в ответ Талейран. — Париж — это такой город, где гораздо легче найти себе женщину, чем хорошее аббатство!»

Но ему недолго пришлось вздыхать по этому поводу: уже в 1775 году, двадцати одного года отроду, он стал аббатом в Реймсе, и карьера его пошла быстрыми темпами.

Вскоре он уже был генеральным викарием Реймса. Он жил то в Реймсе, то в Париже, его командировало духовенство на собрания делегатов от церкви, которые сговаривались с правительством по вопросу о налогах и по другим финансовым вопросам, касавшимся церкви. Он вел беспечальную жизнь, полную всяких развлечений, имел новые и новые любовные связи и умудрялся даже через женщин споспешествовать своей духовной карьере. При дворе шансы молодого аббата стояли высоко: он умел вкрасуться в милость к влиятельным людям, и разница между ним и обыкновенными карьеристами заключалась в том, что он задолго умел распознавать, какой именно невлиятельный человек современем непременно будет влиятельным, и заблаговременно расстилал вокруг него свои сети и начинал маневрировать.

Накануне взрыва революции, 2 ноября 1788 года, король Людовик XVI подписал приказ о назначении генерального викария города Реймса Шарля-Мориса Талейрана-Перигора епископом Отенской епархии.

III

Взрыв революции застал Талейрана делающим блестящую карьеру. Он, потомок, правда, очень аристократического и старинного, но обедневшего рода, при отсутствии настоящих серьезных связей, к тридцати четырем годам был уже епископом, кандидатом в кардиналы; вступив в свет без гроша денег, он имел разнообразные и довольно значительные, хотя и очень неверные доходы, пополняемые удачными финансовыми спекуляциями. Правда, положением своим он был недоволен. Вступив в духовное звание, как сказано, исключительно потому, что вследствие

несчастливого случая хромал и был неспособен к военной службе, он ненавидел свой священнический сан всеми силами души и делал все, чтобы заставить себя и других забыть о нелепом костюме, который должен был носить. Он вел светскую жизнь, имел несколько любовных связей с аристократическими и неаристократическими дамами, вел жизнь отчасти царедворца, отчасти биржевого спекулянта; но, несмотря на ловкое добывание денег (тут же спускаемых на женщин, на кутежи и карты), ничего похожего на сколько-нибудь прочный, обеспеченный капитал у него не было и в помине вплоть до самого начала революции. И, кроме того, было уже к тому времени налицо еще одно неприятное и беспоконное обстоятельство: его ближние успели за это время довольно хорошо раскусить молодого и преуспевающего епископа. «Это человек подлый, жадный, низкий интриган, ему нужна грязь и нужны деньги. За деньги он продал свою честь и своего друга. За деньги он бы продал свою душу, — и он при этом был бы прав, ибо променял бы навозную кучу на золото», так отзывался о нем за два года до революции, в 1787 году, Мирабо, имевший несчастье нуждаться в дорогом покупавшихся услугах Талейрана. Есть еще и еще отзывы в том же роде. Никто не отрицал громадных умственных способностей этого человека, но и никто не сомневался в полной готовности его на любой, самый черный поступок, если это может принести ему выгоду.

К чему он стремился? Что в нем было сильнее? Честолюбие или корыстолюбие? Подавляющее большинство современников полагало, что корыстолюбие, и документы, которые мы теперь знаем, но которых они не знали, вполне это подтверждают. «Прежде всего — не быть бедным» — прежде всего. Этот совет-афоризм неоднократно высказывался Талейраном. Проходят Бурбоны, проходят Дантоны и Робеспьеры, проходят Директории и Бонапарты, но земли, и дворцы, и франки (если они в золотой чеканке) — остаются. Что земли и франки тоже (изредка) подвергаются большой опасности, в особенности пока не загнаны в свои трущобы и не обезоружены люди Сент-Антуанского предместья, это Талейран тоже хорошо понимал, но именно поэтому он и не сомневался, что на его веку, по крайней мере, эти опасные для него люди всегда будут в конечном счете загнаны в свои пещеры. Значит, об этом нечего и говорить, и можно для практических целей, при деловых соображениях, считать земли и франки вечными благами, а титулы и министерские кресла — преходящими.

Власть для него — большая ценность, только власть и дает деньги, это главная ее функция; конечно, власть дает сверх того и приятное

ощущение внешнего почета и могущества, — но это уже на втором плане.

То же можно сказать и о женщинах, в которых некоторые биографы видели другую основную страсть Талейрана. Женщины хороши главным образом потому, что через их посредство и протекцию можно легче и скорее всего добиваться назначения на хорошие (то-есть доходные) места. Правда, полагал он, женщины и сами по себе дают сверх того много хороших минут, но это для Талейрана тоже было на втором плане.

И власть и женщины нужны прежде всего для достижения богатства. Деньги, деньги — все остальное приложится. Если мы взглядем внимательно в поступки и движения Талейрана, мы увидим, что от этого основного принципа он никогда не уклонялся, — не в пример всем прочим своим «принципам».

Вот первая, молодая, предреволюционная эпоха его жизни, первые его тридцать пять лет. Известны классические слова Талейрана: «Кто не жил до 1789 года, тот не знает всей сладости жизни». Этой сладости ничуть не мешали такие досадные обстоятельства, что, во-первых, у Талейрана не было никакой власти и, во-вторых, была довольно твердо установленная репутация сомнительного дельца, если даже не просто мошенника. Зато были в изобилии женщины и, если не в изобилии, то в довольно большом количестве деньги; женщины помогали его карьере, помогали ему пробираться на весьма теплые местечки по части расчетного баланса католического духовенства с правительством; женщины облегчали добывание нужных сведений и связей по бирже, по подрядам, по откупам, по спекуляциям; женщины создавали ему успех во влиятельных салонах.

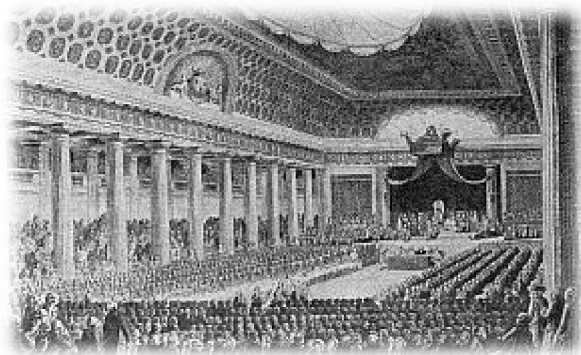


Рисунок 5: Открытие Генеральных штатов в Версале 6 мая 1789 г.
(гравюра Гельмана с рис. Моне).

Что же касается репутации, то эта статья — заметим с самого начала — занимала Талейрана чрезвычайно мало. И в переходные эпохи, когда дворянско-феодальный класс и поддерживаемый им политический строй все больше и больше вынуждаются не только считаться с напором буржуазии, но и брать к себе на службу, включать в служилое сословие людей новых общественных слоев, в эпохи, подобные, например, последним предреволюционным десятилетиям Франции XVIII века или России конца XIX и начала XX века, — это чуть ли не намеренное, прерзительное бравоирование «общественным мнением» становится явлением весьма характерным и почти обыденным, и именно для представителей отходящего, гибнущего аристократического класса. Стоит ли считаться с общественным мнением, когда его представляют какие-то неведомые разночинцы? Появляется цинизм откровенности, прежде немислимый. И при Людовике XIV министры воровали весьма часто и обильно. Но только при Людовике XVI, за пять лет до взятия Бастилии, на вопрос: «Как вы решились взять на себя управление королевскими финансами, когда вы и свои личные дела совсем расстроили?» — генеральный контролер Калонн осмелился с юмором громогласно ответить: «Потому-то я и взялся заведывать королевскими финансами, что личные мои финансы уж очень оказались расстроены». Процветало казнокрадство и взяточничество в России и при Александре I и при Николае I, но только в период между 1 марта 1881 года и 28 февраля 1917 года на слова подрядчика: «Я дам вашему превосходительству три тысячи, — и никто об этом и знать не будет», стал возможен переданный потомству директором Горного департамента К. А. Скальковским классический ответ его превосходительства: «Дайте мне пять тысяч и рассказывайте кому хотите».

В подобной атмосфере, свойственной предреволюционным эпохам, проходила молодость Талейрана. Кого ему было стесняться? Спекулянты, биржевики, откупщики, факторы — весь этот люд, кишевший на Rue Vivienne, и от которого так зависел молодой аббат, а потом епископ в своих аферах, считал удачное мошенничество высшим проявлением ума и таланта. Мирабо, так в Талейране разочаровавшийся, сам был не очень чист на руку, при дворе все покупалось, продавалось и выменивалось. Стесняло досадное, долгополое аббатское платье, стесняло иногда безденежье: хоть деньги и плыли в руки, как сказано, но уплывали так же быстро и Даже еще быстрее. На вечный праздник роскоши, на женщин, на вино и на карты иногда нехватало. Стесняло, в особенности, сознание, что досадное платье, во-первых, нельзя никак, при нормальных услови-

ях, до конца жизни сбросить с плеч, во-вторых, если бы и было возможно по каноническому праву, то немислимо по бюджетным соображениям: епископу отенскому, завтрашнему кардиналу, наживать деньги было несравненно легче и удобнее, чем простому князю Талейрану. Вот это в самом деле, как мы знаем фактически, заставляло изредка пригорюниваться Талейрана. Правда, эти минуты неприятного раздумья приходили редко. «Сладость жизни» от этого в общем для него не уменьшалась. Но вот грянула революция.

IV

Предвидел ли Талейран революцию? Ее наступление предвидели и не такие проницательные умы, но мало кто предсказал бы в общих чертах ее дальнейшее развитие и особенно ее формы; пресловутое пророчество Казотта о казни королевской семьи и гибели всех его собеседников-аристократов является сочиненным впоследствии, хотя оно и прельстило историка Ипполита Тэна, а еще до Тэна вдохновило Лермонтова («На буйном пиршестве задумчив он сидел...»). Пиршества, на которых так часто сиживал Талейран, не омрачались никакими зловещими пророчествами. Этому избалованному легкой и беспечальной жизнью кругу людей революция еще весною 1789 года представлялась интересной пикировкой просвещенных умов с придворными реакционерами и с их главной покровительницей королевой Марией-Антуанетой, состязанием в красноречии на разные великодушные и популярные темы, а также революция казалась, прежде всего, перераспределением мест, пенсий, министерских портфелей. А потом, когда наступит к концу лета каникулярный перерыв, то члены Генеральных штатов разъедутся на отдых по своим деревням и замкам, где и будут пожинать лавры за свои либеральные подвиги среди благодетельствованных ими поселян. Самая деятельность созванных на 5 мая 1789 года в Версаль Генеральных штатов вовсе не представлялась протекающей в атмосфере ожесточенной, а тем более вооруженной борьбы.

Но уже очень скоро, уже в первые недели после начала заседаний, Талейран стал ясно видеть, что надвигаются такие времена, когда и бесполезно и опасно сидеть между двух стульев и когда наибольшая ловкость заключается именно в самой отчетливой постановке вопроса. Что третье сословие подавляюще, вне всяких сравнений, сильнее двух других и в Генеральных штатах и везде, это он понял с первых дней, а поэтому, как он сам говорит, «оставалось лишь одно разумное решение — уступить до того времени, как к этому принудят силою и пока еще можно было по-

ставить себе эти уступки в заслугу». Он и занял позицию самую прогрессивную, позицию епископа, который хочет быть другом народа, врагом привилегий, защитником угнетенных. Он даже стоически отказался на первых порах от взятки, которую поспешил предложить ему потихоньку королевский двор. Ему приписывают замечательные слова при этом геройском для него и совсем исключительном в его биографии отказе: «В кассе общественного мнения я найду гораздо больше того, что вы мне предлагаете. Деньги, получаемые через посредство двора, впредь будут лишь вести к гибели».

Талейран без колебаний покинул погибающий корабль, — точнее, те части погибающего корабля, где так беспечно и роскошно протекала до сих пор его жизнь, — и поспешил пока что перебраться в более безопасные помещения: в Версале он перешел из зала духовенства в залу третьего сословия.



Рисунок 6: Робеспьер. (Гравюра Нейбеля с рис. Герена)

Но события развивались. Взятие Бастилии было для него тем страшным ударом грома, который показал, что опаснейшая политика, которую вел королевский двор, политика бессильного, но явно злостного сопротивления, ставит на очередь борьбу за власть с оружием в руках между революцией и контрреволюцией. Буря заливала водою уже не те или

инные помещения корабля, а грозила немедленно потопить его. Необходимы были быстрые и притом окончательные, бесповоротные решения.

Талейран твердо знал, что старый режим *нужно* немедленно пустить на слом и провести все требуемые буржуазией реформы. Но сделать это нужно было, по его мнению, «самим»: правительство должно было делать дело буржуазии, не выпуская руля из рук. Для Талейрана революционный процесс был с самого начала и остался до конца дней его по существу в полной мере неприемлемым, враждебным, губительным. Он никогда ни на один момент не принимал искренно, не мирился от души с полной передачей власти восставшей народной массе. В этом отношении никогда у него не было даже и мимолетного увлечения новыми идеями, новыми (перспективами, освободительными и «уравнительными» мечтаниями, как бывали эти увлечения у некоторых других аристократов в последние годы перед революцией и в первые ее времена, Отвращение и боязнь — других чувств к восставшей массе Талейран никогда не питал.



Рисунок 7: Дантон. Гравюра Мейера.

Но пронизательный и отчетливый ум ясно указывал ему, что перебегающая политика слабости и насилия, уступчивости и упрямства есть наихудшая из возможных позиций. А страх перед надвигающимся

крутым, кровавым переворотом был в нем так силен, ненависть к предстоящему уничтожению самих кадров, самой обстановки беспечальной жизни так велика, что Талейран — в первый и в последний раз в жизни — решил раньше, чем перейти в стан сильного врага, попытаться повести с ним борьбу открытой силой. Никогда больше с ним этого не случилось.

Через два дня после взятия Бастилии, когда Париж был уже вполне во власти революционной Национальной гвардии, а король готовился съездить из Версаля в столицу, чтобы заявить свое одобрение случившемуся и украсить свою шляпу трехцветной кокардой, — в ночь с 16 на 17 июля в Марли, во дворец, явился епископ отенский, князь Талейран, и просил свидания с братом короля, графом д'Артуа. Карл д'Артуа уже успел прослать именно тем из королевской семьи, кто решительнее всех стоит за энергичное военное сопротивление наступившей революции. Более двух часов сряду продолжалась эта беседа.

Талейран настаивал, что нужно немедленно начать действовать открытой силой, подтянуть наиболее надежные войска и сражаться, что это — единственный возможный еще шанс спасения. Карл говорил, что король не согласится. Талейран настаивал, что нужно немедленно разбудить короля и убедить его начать сопротивление.

Граф д'Артуа пошел будить Людовика XVI. Но, когда граф вернулся к Талейрану, он сообщил ему, что король решил уступить революционному (поток и ни в каком случае не допустить пролития хотя бы одной капли народной крови. Решение обоих собеседников было тогда приня-



Рисунок 8: Национальное собрание 1789 г. (рис. Моне).

то немедленно, тут же. «Что касается меня, — сказал граф д'Артуа, — мое решение принято: я еду завтра утром, и я покидаю Францию». Талейран сначала пытался отговорить его от этого намерения, а в заключение разговора заявил: «В таком случае, ваше высочество, каждому из нас остается лишь думать о своих собственных интересах, раз король и принцы покидают на произвол свои интересы и интересы монархии». На предложение Карла эмигрировать вместе с ним Талейран отвечал категорическим отказом.

Он остался. Не затем, конечно, он остался, чтобы спасти, что еще можно было спасти, как он писал и говорил впоследствии. Он в данном случае лжет так же отъявленно, так же бессовестно, с таким же величавым спокойствием и с таким же видом умудренного жизнью философа, как и везде и всегда, — и в своих мемуарах, и в других работах, — едва лишь дело доходит до мотивирования его поступков. Ничего и никого он не спасал ни при революции, ни при Наполеоне; напротив, с полной готовностью толкал людей, где это было ему выгодно, к гильотине или к венсеннскому рву (куда, например, именно он и никто другой толкнул герцога Энгиенского в марте 1804 года). Он остался во Франции, чтобы не влачить нищенской эмигрантской жизни, чтобы попытаться поладить с новыми господами положения и раздавателями земных благ, чтобы «переселиться», заменив павшую лошадь новым скакуном. С того момента, как граф д'Артуа сообщил ему после ночного разговора с своим братом, что королевская власть отказывается от вооруженной борьбы, Талейран без колебаний от Бурбонов отвернулся и перешел в стан победителей.

Он тотчас же сообразил, что хоть они и победители, хоть буржуазия одним ударом вымела прочь дворянско-абсолютистский строй, но что кое в чем такие люди, как он, еще могут, если не терять попусту золотого времени, очень и очень пригодиться и выгодно продать свои услуги, и не только потому, что у него голова хорошая, но и потому, что на этой голове находится епископская mitra. Оказалось, что и при революции этот ставший старомодным головной убор может иметь свою меновую ценность. Дело в том, что как раз в это время, в конце лета и осенью 1789 года, Учредительное собрание было очень озабочено гнетущим вопросом о финансах. Предстоял обильный выпуск бумажных денег, для которых следовало найти хоть некоторое обеспечение. Таким обеспечением мог послужить огромный земельный фонд, принадлежавший католической церкви во Франции. Следовало его отнять у духовенства и перечислить в казну. И вот тут-то предстояли некоторые трудности.

Во-первых, как нарушить священный и неприкосновенный принцип частной собственности? Торжествующая буржуазия столько раз и так велеблещиво его провозглашала, подтверждала, внедряла и славословила, и в то же время она так боялась, чтобы до сих пор помогавшие ей массы не обратились от штурма Бастилии к мануфактурам, домам и меняльным лавкам, что всякий раз, когда вопрос хоть отдаленно касался перемещений имущественного характера, в речах и поведении собрания замечался какой-то разнобой, наблюдались колебания, трения, некоторая растерянность и нерешительность. А тут ведь дело шло об экспроприации колоссальных церковных земельных фондов. Не могло ли это послужить соблазнительным примером, например, толчком к требованию перераспределения всех вообще земельных имуществ, поощрением к «аграрному закону», к земельной реформе в стиле братьев Гракхов, о которых так часто и с таким беспокойством поминали в те времена?

А, во-вторых, эта экспроприация касалась ведь большого, прекрасно организованного сословия, того самого духовного сословия, которое хоть и было очень многими и крепкими нитями связано со старым режимом, но до сих пор вело себя с большою осторожностью, вовсе еще не становилось в ряды врагов революции и, обладая значительным влиянием в деревне, нигде не было пока замечено в контрреволюционной агитации среди крестьян. Сразу сделать эту громадную, сплоченную, полуторатысячелетнюю организацию своим врагом буржуазные законодатели тоже отнюдь не желали. Если бы еще, отнимая эту землю у церкви, ее отдали немедленно крестьянам, было бы основание надеяться на то, что материальные выгоды, получаемые крестьянами, обезвредят контрреволюционную пропаганду обиженного и раздраженного духовенства. Но ведь эти земли вовсе не предназначались к раздаче: они должны были поступить в казну, которая уж и озаботилась бы их продажей с публичного торга. Опасное и полное соблазна насилие над принципом частной собственности, переход духовенства в контрреволюционный лагерь — вот перспективы, встававшие пред обеспокоенным взором Национального учредительного собрания. Без конфискации этих колоссальных земельных богатств обойтись было никак нельзя. Как бы сделать так, чтобы и земли оказались в руках казны и чтобы конфискации никакой при этом не было?..

Вот тут-то и пригодился князю Талейрану его епископское облачение и пастырский посох, тут-то он и понял, что подвергнется сам собою, случай (и уже, конечно, последний случай) получить за эти красивые, во несколько устаревшие вещи гораздо больше, чем мог бы дать за них самый щедрый антикварный магазин.

10 октября 1789 года — утром Учредительное собрание, а вечером весь Париж были потрясены неожиданным, изумительным и радостным известием. Оказалось, что живы еще в греховном веке святые христовы заповеди, повелевающие во смирении и нищете видеть истинное блаженство! Сами высшие служители алтаря, пастыри душ людских, без всякого давления со стороны, движимые одной лишь беззаветной любовью к ближним, возжелали отдать все, что имеют, в пользу отечества, вспомнили, что они являются прямыми наследниками и продолжателями босых и нищих палестинских апостолов, и добровольно отказались от всех своих земель! Даром! Без выкупа! И кто же совершил этот подвиг, достойный блаженнейших угодников божиих? Скромный епископ отенский, он же (во миру) князь Талейран-Перигор! Именно он, не предупредив даже никого из других духовных лиц, увлекаемый индивидуальным сердечным порывом, внес в Учредительное собрание предложение — взять в казну церковные земли — и представил тут же разработанный проект закона об этом. В пояснительной записке подчеркивалось, что церковная собственность не похожа на обыкновенную частную собственность, что государство смело может ею овладеть и что эта мера «согласуется с суровым уважением к собственности». «Иначе бы я эту меру отвергнул», бестрепетно заявлял при этом принципиальный автор.

Все эти оговорки, а главное — духовный сан автора законопроекта, сразу снимали прямо гору с плеч революционной буржуазии. Это было именно то, что требовалось: церковь сама брала на себя инициативу, дело шло отныне не о конфискации, а о добровольном пожертвовании.

Правда, чувствовалась некоторая неувязка: епископ отенский уже с давних пор снискал себе моральную репутацию, значительно отличающуюся от той, которая подходила бы к такому вот древлееблагочестивому святителю и подвижнику, желающему вернуть церковь к евангельской нищете. Известно было, например, что, не говоря уже о грехах юности, за епископом отенским, даже и в тот момент, о котором идет речь, числились две любовные связи одновременно и что эти связи как-то сложно, но неразрывно переплетались с его финансовыми делами, и трудно было понять, кто у кого сколько берет и получает. Говорили (Камилл Демулэн даже печатал об этом в своей газете прозой, а другие журналисты в стихах), что епископ отенский, посвящая дни своей работе в Национальном учредительном собрании, отдыхает вечером от своих законодательных трудов в игорных клубах и притонах, где ведет очень крупную и азартную картежную игру. Все это было совершенно справедливо. Враги епископа отенского не хотели понять, что карты — дело неверное, что серьезные люди (а Талейран был прежде всего чело-

веком касательно дел своего кармана серьезным и вдумчивым) должны неминуемо заботиться о более верных заработках и что только этим и объясняются две операции, к которым принужден был прибегнуть приблизительно тогда же епископ-законодатель: во-первых, он обратил внимание испанского посла в Париже, приехавшего возобновить договор с Францией, на то, что он, Талейран, между многим прочим, заседает также в дипломатическом комитете Национального собрания, и испанский посол в ответ на это сообщение подарил Талейрану сто тысяч долларов американской монетой в знак уважения испанского правительства к его душевным качествам; а, во-вторых, Талейран тою же осенью 1789 года выпросил у своей любовницы, графини Флао, драгоценное ожерелье, которое немедленно и заложил в парижском ломбарде за девяносто две тысячи ливров. Обе эти операции стали широко известны и были приняты общественным мнением без всякого сочувствия к практическим талантам первосвященника Отенской епархии.

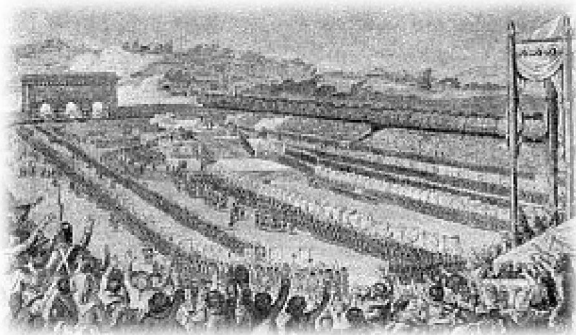
Но теперь (на время) значительное большинство Учредительного собрания и задававшего всему тон буржуазного общественного мнения решительно превозносило Талейрана. Услуга, оказанная им по части церковных земель, даже преувеличивалась. Сразу он выдвинулся в первые ряды руководящих законодателей. Даже те, кто не верил его искренности, считали, что он бесповоротно сжег за собой все корабли и что уж по одной этой причине революция может отныне вполне доверять ему. Зато ярости в лагере аристократии и особенно среди духовенства не было предела. «Без таланта, с небольшим умом, с большим самодовольством, мошенничая при Калонне на бирже, оскорбляя пристойность в своем серале», — так жил и таков был прежде епископ отенский; «а теперь он холодно воспринимает уколы презрения, он советует воровать, преподает клятвопреступление и сеет раздоры, возвещая при этом мир». Так (в стихах) воспевала Талейрана контрреволюционная газета «Les Actes des Apôtres» по поводу секвестра церковных имуществ.

Пойдя по новой дороге, Талейран не обращал на эти стрелы ни малейшего внимания. Ему важно было теперь мнение его новых хозяев, к которым он пошел на службу, презирая их точно так же, как он презирал оставленных им аристократов и епископов, и еще вдобавок холодно осмеивая тайком новых людей, так как они раздражали его своими манерами, своим тоном и языком, своею полнейшей бытовой отчужденностью от него. Но в их руках была власть, а потому и деньги. Талейран никогда не блистал ораторскими способностями, да и опасался он выступать на этой беспокойной трибуне. Он пристроился к разным интересным комитетам — вроде дипломатического и финансового, — где

негласно и без особого риска можно было подзаработать. «Видите ли, — поучал он впоследствии барона Витроля, — никогда не следует быть бедняком, *il ne faut pas être pauvre diable*. Что до меня, — то я всегда был богат». На самих Людовиков и на самих Наполеонов нельзя полагаться, но на золотые кружочки с чеканными портретами Людовиков и Наполеонов можно вполне и при всех условиях положиться. Таков был руководящий жизненный принцип князя Талейрана вплоть до гробовой доски.

Духовенство и дворянство яростно его возненавидели за инициативную роль в деле отобрания церковных имуществ. Но они были бессильны и поэтому несколько Талейрана не интересовали. Торжествовавшая в Национальном собрании буржуазия демонстративно возблагодарила так кстати выступившего епископа отенского тем, что в феврале 1790 года избрала его президентом Национального собрания. Он быстро шел в гору.

Во время громадного торжества праздника Федерации (14 июля 1790 года, в первую годовщину взятия Бастилии) Талейран появился в своем импозантном епископском одеянии во главе духовных лиц, примкнувших к новому устройству церкви. Он изображал своей особой слияние братства евангельского и братства революционного в единое гармоничное целое. Он оказался в центре действия. Он величаво благословил королевскую семью, Национальную гвардию, членов Национального собрания, несметные толпы обнажившего пред ним свои головы народа, он отслужил молебен у алтаря, воздвигнутого посредине колоссальной площади. Этот смиренный служитель Христа, этот бескорыстный аристократ, так всецело служащий возрождению отечества, возбуждал в теснившихся вокруг него доверчивых массах в этот день даже некоторое умиление.



*Рисунок 9: Праздник Федерации на Марсовом поле
(гравюра Гельмана с рис. Моне).*

Сам Талейран, впрочем, тоже всегда с удовольствием об этом дне вспоминал, но вот почему: к вечеру он освободился и, не теряя времени, поехал в игорный дом, где ему так неслыханно повезло, что он сорвал банк. Сорвав банк, он отправился на веселый обед к знакомой даме (графине Лаваль). После обеда он снова съездил в игорный притон, — но уже в другой, и тут произошел изумительный в картежной истории случай: он снова сорвал банк! «Я вернулся тогда к госпоже Лаваль, чтобы показать ей золото и банковые билеты. Я был покрыт ими. Между прочим, и шляпа моя была ими полна». Так с воодушевлением повествовал он об этом отрадном событии много лет спустя барону Витролю, когда речь зашла о дне праздника революционного братства 14 июля 1790 года.

Вскоре снова пригодилась Талейрану его епископская митра: он посвятил в епископы тех присягнувших новому устройству церкви священников, которых папа воспретил посвящать и которых другие епископы не желали посвятить.

Папа ответил на это отлучением Талейрана от церкви. Но тот и ухом на это отлучение не повел и продолжал свое дело. Он решительно и публично отверг право папы запрещать французскому духовенству присягать новому устройству церкви. Он представил (осенью 1791 года) собранию обширный доклад о народном образовании, составленный вполне в духе совершившейся революции. Полностью закончив все, что он мог сделать для своей карьеры в собрании в качестве епископа, Талейран сбросил, наконец, свое епископское одеяние окончательно и бесповоротно: ведь папское отлучение, в сущности, отвечало всегдашнему его желанию отвязаться от духовного звания и стать светским человеком.

Очень скоро услуги Талейрана понадобились революции на том поприще, на котором ему и суждено было снискать себе историческую славу, — на поприще дипломатии. Французское правительство уже с конца 1791 года должно было думать о предстоящей войне против монархической Европы. В январе 1792 года Талейран был командирован в Лондон с целью убедить Вильяма Питта остаться нейтральным в предстоящей схватке. «Сближение с Англией — не химера, — заявил тогда же Талейран: — две соседние нации, из которых одна основывает свое процветание, главным образом, на торговле, а другая — на земледелии, призваны неизменной природой вещей к согласию, ко взаимному обогащению».

Приняли его в Лондоне крайне враждебно. Французские эмигранты презирали и ненавидели «этого интригана, этого вора и расстригу», как они его величали. С эмигрантами сам Питт считался мало, но королевская семья с Георгом III во главе и вся английская аристократия очень

считались. Королева на аудиенции, когда Талейран, со всеми должными церемониями и поклонами в три темпа, подошел к ней, повернулась спиной и ушла. На улицах Лондона Талейрана иногда вполголоса, а иногда и во весь голос ругали, на него и его спутников показывали пальцами. Но Талейран и тут, на международной сцене, обнаруживал впервые, каким он был первоклассным дипломатическим интриганом. Он с такой царственной величавостью умел не замечать того, чего не хотел заметить, так спокойно и небрежно, где нужно, держал себя и говорил, так артистически симулировал сознание глубокой своей моральной правоты, что не этим уколам и демонстрациям было его смутить. Миссия ему почти удалась, во всяком случае выступление Англии было отсрочено больше чем на год. Англичан поразила, между прочим, самая личность французского представителя. Они единодушно нашли, что он вовсе не похож на француза. Он был холоден, сдержан, говорил свысока, скуп и намеренно не очень ясно по существу, очень умел слушать и извлекать пользу из малейшей необдуманности противника.

В первых числах июля 1792 года Талейран, закончив свою миссию в Лондоне, уже вернулся в Париж, а через месяц после его возвращения, 10 августа, пала французская монархия, после полуторатысячелетнего своего существования.

Наступали такие грозные времена, когда всей ловкости бывшего епископа могло нехватить для того, чтобы спасти свою голову. Конечно, Талейран тотчас же взял на себя поручение составить ноту, извещающую великобританское правительство о провозглашении республики. «Король нечувствительно подкапывался под новую конституцию, в которой ему было отведено такое прекрасное место. С самой скандальной щедростью из рук короля лилось золото и расточались подкупы, чтобы погасить или ослабить пламенный патриотизм, беспокоивший его». С таким праведным революционным гневом изъяснялся в этой ноте князь Талейран, оправдывая низвержение Людовика XVI перед иностранными державами и, прежде всего, перед Англией.

И, буквально чуть не в тот же самый день, как он писал эту проникновенную суровым революционным пафосом ноту, Талейран уже предпринял первые шаги для получения возможности немедленно бежать без оглядки за границу. Он явился к Дантону просить заграничный паспорт под предлогом необходимости войти в соглашение с Англией о принятии общих мер длины и веса. Предлог был до курьеза явственно придуманный и фальшивый. Но не мог же Дантон заподозрить, что эмигрировать в Англию собирается тот самый человек, который пять дней тому назад за полной подписью писал Англии ноту о совершеннейшей необ-

ходимости низвержения монархии и о самой безусловной правоте и обоснованности того углубления революции, которое произошло 10 августа. Дантон согласился. Паспорт был окончательно оформлен к 7 сентября, а спустя несколько дней Талейран ступил на английский берег.

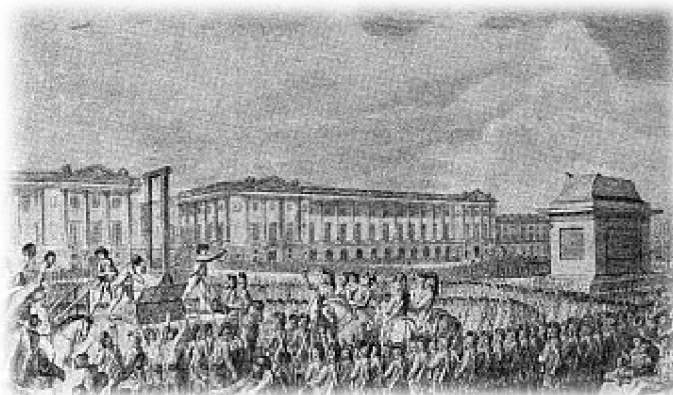


Рисунок 10: Казнь Людовика XVI 21 января 1793 г. (гравюра Гельмана с рис. Моне).

Опоздай он немного — и голова его скатилась бы с эшафота еще в том же 1792 году. Это можно утверждать совершенно категорически: дело в том, что в знаменитом «железном шкафу» короля, вскрытом по приказу революционного правительства, оказались два документа, доказывавшие, что еще весной 1791 года Талейран тайно предлагал королю свои услуги; дело было сейчас же после смерти Мирабо, и Талейран имел тогда все основания рассчитывать, что именно ему пойдет приличное вознаграждение, которое за подобные же тайные услуги получал Мирабо. Конечно, Талейран имел в виду обмануть короля. Сделка почему-то расстроилась, но следы остались, хотя и очень слабые (он был крайне осторожен), и, как сказано, обнаружились. 5 декабря 1792 года декретом Конвента было возбуждено обвинение против Талейрана. Присланное им объяснение не помогло, и он официально был объявлен эмигрантом.

Это было — или казалось — до известной степени жизненным крушением для Талейрана. Путь во Францию был закрыт если не навсегда, то очень надолго. Денег было при себе 750 фунтов стерлингов, и никаких доходов не предвиделось. В Лондоне кишмя-кишели эмигранты-роялисты, которые печатно поспешили заявить, что бывший епископ отенский заслужил за свое поведение, чтобы в случае реставрации его



Рисунок 11: Марат. (Гравюра Бассельмана с рис. Раффе)

не просто повесили, но колесовали. Правда, были там и другого типа эмигранты, — «люди 1789 года», как их называли, — они относились к Талейрану гораздо терпимее, так что составилась небольшой кружок, принимавший его в свою среду. Кстати, приехала в Лондон и госпожа Сталь, у которой были с Талейраном тогда интимные отношения. Зажил он, в конце концов, спокойно, как всегда не показывая вида какой бы то ни было растерянности или угнетенности. Роялистов-эмигрантов он презирал от всей души, главным образом за убогость их умственных средств, в частности за полнейшее, детское непонимание ими всей грандиозности того, что случилось.

Для Талейрана было уже тогда (и даже раньше, уже после взятия Бастилии) ясно, что, какие бы сюрпризы и перемены ни ждали Францию, одно вполне доказано: старый феодально-дворянский режим в том виде, как он существовал до 1789 года, никогда уже не вернется. Мало того: не вернется ни единая сколько-нибудь характерная его черта, и это — даже если бы каким-нибудь чудом вернулась династия Бурбонов. Но он пока даже и в возвращение Бурбонов ни в малейшей степени не верил.

Оттого-то Талейран и не считался нисколько со всеми этими негодующими демонстрациями и яростными выходками против своей особы со стороны роялистов-эмигрантов, которые истощали весь словарь французских ругательств, едва только заходила речь о ненавистном «расстриге». С его точки зрения, эти белые эмигранты были мертвецы, которых почему-то забыли похоронить, и только. Однако кое-какие и даже очень крупные неприятности косвенным путем эмигранты все-таки могли ему доставить; они не преминули воспользоваться случаем.



Рисунок 12: Карно. (Гравюра Бассельмана с рис. Раффе).

В один прекрасный день (дело было в январе 1794 года) английское правительство приказало ему немедленно покинуть Англию и ехать, куда пожелает, в другое место. Но куда? В монархическую континентальную Европу ему показаться нельзя было: там его имя возбуждало еще больше злобы, чем в Англии, а эмигранты, враги его, имели там еще больше влияния, чем в Лондоне. Оставалась Америка, и Талейран выехал в Филадельфию. Сам по себе юный и совсем тогда неведомый Новый Свет нисколько его не интересовал. «Я прибыл туда, полный отвращения к новым вещам, которые обыкновенно интересуют путешественников. Мне трудно было возбудить в себе хоть немного любопытства». Тут

характерно самодовольство, с которым это высказывается, но еще более характерно для этой смолоду опустошенной души, что в самом деле у него ни к чему и никогда не было «любопытства», — ни к какому предмету, событию или человеку, если они не имели отношения к его собственным материальным соображениям и интересам. Оттого он так скуп и тускл в тех случаях, когда ему приходится говорить обо всем, что не имело к нему лично прямого отношения.

В Америке он деятельно занялся разными земельными спекуляциями, и, повидимому, небезуспешно. Но его стала томить в Америке такая скука, что он ждал только случая завести сношения с революционным правительством и просить разрешения вернуться. Конечно, думать об этом ему можно было лишь после 9 термидора, а в особенности после 1 прериала, после неудавшегося восстания и последовавшего разоружения рабочих предместий в начале лета 1795 года. Он начал деятельно хлопотать, и уже 4 сентября 1795 года ему было дано разрешение вернуться во Францию. Сильно ему помогла именно та ярая ненависть, которой он был окружен в эмиграции. Докладывая о нем в Конвенте, в заседании 4 сентября 1795 года, Шенье сказал: «Я прошу о нем во имя республики, которой он может еще пригодиться своими талантами и своими трудами; я прошу о нем во имя вашей ненависти к эмигрантам, жертвой которых он был бы подобно вам самим, если бы эти подлецы могли восторжествовать».

Тотчас по получении (в ноябре того же 1795 года) известия об этом событии Талейран стал ликвидировать свои американские дела и собираться в Европу. Только 20 сентября 1796 года он прибыл в Париж.

V

Началась новая эпоха его жизни, а одновременно начинался и новый период мировой истории. «Революция кончилась во Франции и пошла на Европу», говорили одни. «Революция вышла из своих берегов», говорили другие. За Альпами уже гремела слава Бонапарта, молодого завоевателя, которого феодальная Европа назвала впоследствии «Робеспьером на коне». Предстояли великие перемены и во Франции и в Европе. Буржуазная революция, победившая во Франции, готовилась померяться силами с абсолютистской Европой, с полуфеодальным строем, решившим дорого продать свою жизнь. На авансцену истории выступали армии; ораторы готовились уступить место генералам. Буржуазная революция, отбросив врагов от границ Франции, преследовала их на их собственной территории. Талейран не сомневался ни минуты (и нико-

гда) относительно того, на чьей стороне в этой борьбе буржуазии против пережитков феодализма будет победа. Оттого-то он и приехал во Францию из Америки. Его час пришел.

В этом самом 1796 году в одну бессонную ночь завоеватель Италии, генерал Бонапарт, по собственному своему позднему признанию, впервые спросил себя: Неужели же ему всегда придется воевать «для этих адвокатов»? А в то же время в далеком Париже только что вернувшийся князь Талейран, у которого за время террора было конфисковано и продано все имущество и который теперь проживал остатки того, что успел заработать на своих мелких земельных спекуляциях в Америке, — князь Талейран, внимательно присматриваясь к новым владыкам, к пяти директорам республики, тоже решал вопрос: искать ли себе нового господина или довольствоваться «этими адвокатами», как они ни плохи? Он решил, что прежде всего нужно вкратце в милость и в ближайшее окружение, нынешних владык, а потом уже думать о будущем властелине. Что страна безусловно идет к военной диктатуре, — это Талейран ясно предвидел.



Рисунок 13: Баррас (гравюра Кампани с рис. Банвиля).

Во всяком случае, нужно было прежде всего предложить свои услуги Директории. Тут дело пошло весьма негладко. Обнаружилось досадное обстоятельство: слишком уж оказалась громкой в известном смысле репутация бывшего епископа отенского. «С медным лбом он соединяет ледяное сердце», писал о нем Лебрэн в стихах. А в прозе о нем выражались настолько непринужденно, что наиболее красочные эпитеты приходилось обозначать в печати лишь первой буквой и несколькими точками: печатная бумага не выдерживала наплыва чувств его критиков. Хуже всего (в карьерном отношении) было то, что в самой пятичленной Директории трое считали его взяточником, четвертый считал его вором и взяточником, а пятый (Ребель) — изменником, вором и взяточником. «Талейран состоит на тайной службе у иностранных держав! — восклицал Ребель на заседаниях Директории. — Никогда не было на свете более извращенного, более опасного существа». Остальные четверо внимали этим речам без малейшего протеста. Да и как бы мог протестовать хотя бы тот же честный и убежденный Карно, когда сам он — не очень точно, впрочем, — говорил о нашем герое: «Талейран потому именно так презирает людей, что он много изучал самого себя... Он меняет принципы, как белье».

Все упования Талейрана были возложены на Барраса. Баррас тоже знал, что Талейран способен решительно на все, но он знал также, что правительству во что бы то ни стало нужен хороший дипломат, тонкий ум, нужен человек, обладающий способностью к долгим извилистым переговорам, к словесным поединкам самого трудного свойства. Баррас понимал, что эта сложнейшая дипломатическая функция и есть та служба, та техника, та специальность, которая сейчас, в 1797 году, имеет и в близком будущем будет иметь колоссальное значение и которую не могут взять на себя ни «адвокаты», ни генералы. Не буду передавать во всех деталях (они все известны и даже приведены в систему вследствие стародавней любви французской историографии к мелочам и к альковным сплетням), не буду даже касаться того, как госпожа Сталь, бывшая его любовница, помогла в этом деле Талейрану, как он для этого позорно льстил и унижался не только пред нею, но и пред ее (в тот момент) любовником Бенжаменом Констаном, как он умолял госпожу Сталь, чтобы она разжалобила Барраса и уверила бы долго колебавшегося директора, что ему, Талейрану, жить нечем, что если его не назначат министром иностранных дел, то он принужден будет немедленно утопиться в реке Сене, ибо у него в кармане осталось всего десять луидоров, и так далее. «Il m'a dit, qu'il allait se jeter à la Seine, si vous ne le faites pas décidément ministre des affaires étrangères». Баррас не скрыл от своей гостьи

(она семь раз почти подряд побывала у него в эти горячие дни), что вся Директория относится к покровительствуемому госпожею Сталь другу, как к отъявленному плуту, и что вообще она, Сталь, ему, Барра су, очень уж надоела с этими назойливыми приставаниями. Госпожа Сталь, выслушав, явилась спустя два дня в восьмой раз. В конце концов Баррас, при всеильном своем влиянии, убежденный, как сказано, что Талейран может пригодиться и что у них подходящей замены нет, ускорил решение и в самом деле поставил в Директории вопрос о назначении Талейрана. После прений три голоса оказались за назначение, два — против.



Рисунок 14: 9 термидора (гравюра Гельмана с рис. Моне).

Когда Бенжамен Констан вбежал к Талейрану с этим известием, тот чуть ли не в первый и в последний раз в своей долгой жизни прямо потерялся от радости. Он бросился на шею Констану, а в карете, в которой он сейчас же поехал с Констаном и с одним своим собутыльником благодарить Барраса. Он, как будто забыв о существовании слушателей, повторял всю дорогу, как помешанный, одну и ту же фразу: «Место за нами! Нужно составить на нем громадное состояние, громадное состояние, громадное состояние!» («Nous tenons la place! Il faut y faire une fortune immense, une fortune immense, une fortune immense!»)

Такова была та основная пружина, тот самый глубокий, основной нерв деятельности, тот в тайниках сердца выношенный руководящий мотив, который Талейран высказал, как только узнал, что назначен министром Французской республики, высказал в пароксизме стихийной, пьянящей радости, единственный раз в своей жизни забыв собственное свое правило, что «язык дан человеку затем, чтобы скрывать свои мысли». Он попал на такое место, сидя на котором можно легко стать из ни-

щего миллионером. Вот истинный пафос его деятельности. В этой карете, в эти четверть часа, он был вполне правдив и искренен. Конечно, он скоро очнулся. Уже на другой день, 18 июля 1797 года, получив официальную бумагу о своем назначении князь Талейран совершенно опомнился и взял себя в руки. Пред служащими министерства иностранных дел, пред просителями, пред дипломатическим корпусом стоял, величаво опираясь на свой красивый костыль, спокойный и чуть-чуть надменный вельможа, бесстрастный государственный деятель, законный представитель победоносной великой державы, бьющей Европу, полномочный представитель Великой французской революции, борющейся со всеми этими Георгами. Павлами. Францами, а главное — человек, спокойно и глубоко убежденный в своей непорочной чистоте и в том, что если какие-нибудь завистники и клеветают на него, то это никак не может омрачить его нравственную красоту. Всякий внешний успех всегда усиливал в нем это величавое и просветленное спокойствие, — и после всякого своего торжества он как бы говорил своим хулителям и вообще всему окружающему его обществу: «Вы сами теперь видите, как я хорош!»

Итак, он министр, он настоящая власть и сила. Некоторое время уцелевшие аристократы или начавшие возвращаться во Францию эмигранты побаивались мести этого человека, которого они так яростно бранили и преследовали своей ненавистью и даже, как мы видели, выгнали его из Англии в свое время. Думали, что ему, члену правительства, теперь ничего не будет поить жестоко расправиться со своими недругами и ненавистниками. Но никаких преследований он не предпринял, хотя имел полную к тому возможность. Это тоже характерная его черта: он вовсе не был мстителем. При полнейшем, законченном своем аморализме он был бы способен деятельно поработать чтобы хоть живьем закопать совсем пред ним ни в чем неповинного человека, если это, сколько-нибудь требовалось в карьерных целях, — но он пальцем о палец не ударил бы, чтобы покарать самого лютого врага, если, конечно, этот враг впредь уже не мог ему вредить. Месть сама по себе ни малейшего удовольствия или даже простого развлечения ему не доставляла, потому что он в самом деле не умел сильно ненавидеть, а умел только презирать. То, что у позднейших романтиков так часто звучит фальшивой фразой в устах их ходульных героев, то в Талейране было самой реальной правдой, хоть он никогда никаких тирад о ненависти и презрении не говорил. Он забывал о своих врагах, как только они не стояли у него на дороге; а если становились поперек пути, он их либо отшвыривал, либо растаптывал пятой, после чего снова забывал о них. Да и были у

нового министра гораздо более его интересовавшие заботы и устремления. Буквально с первых же дней его министерства в дипломатическом корпусе стали с любопытством наблюдать за тем, что творит новый хозяин французской иностранной политики.

В эпоху Директории, в годы развеселых кутежей директора Барраса, в разгар спекуляций финансиста и хищника Уврава, в эпоху оргий крупных и мелких казнокрадов и поставщиков было трудно, казалось бы, удивить кого-либо взятками, их обилием и повседневностью. Но Талейран все-таки удивил даже своих современников, давно отучившихся в этом смысле чему-либо удивляться. Он брал взятки с Пруссии, брал с Испании, брал с Португалии, брал с Соединенных Штатов, брал с колоний и метрополий, с материков и островов, с Европы и с Америки, с Персии и с Турции; брал со всех, кто так или иначе зависел от Франции, или нуждался во Франции, или боялся Франции. А кто же в ней тогда не нуждался и кто ее не боялся? Взятки он брал огромные, даже как бы не желая обидеть, например, великую державу, запрашивая с нее маленькую взятку. Так он сразу же дал понять прусскому послу, что меньше трехсот тысяч ливров золотом он с него не возьмет. С Австрии — по случаю Кампоформийского мира — он взял миллион, с Испании — за дружеское расположение — миллион, с королевства неаполитанского — полмиллиона. В современной ему печати еще при его жизни неоднократно делались попытки сосчитать, хотя бы в общих итогах, сколько Талейран получил взятками за время своего министерства. Но эти враждебные ему счетоводы обыкновенно утомлялись и сбивались в своих подсчетах и останавливались лишь на первых годах его управления делами. Так, писали, что за 1797–1799 годы Талейран получил больше тринадцати с половиною миллионов франков золотом (собственно 13 650 000). Но ведь эти первые два года были, можно сказать, лишь детской игрой сравнительно с последующими годами, с годами полного владычества Наполеона над всей Европой, когда Талейран продолжал оставаться министром.

И взятки вовсе не были единственным средством обогащения. Через своих любовниц и своих друзей, и через друзей своих любовниц, и через любовниц своих друзей Талейран почти беспробитно играл на бирже: ведь он заблаговременно знал, как сложится ближайшее политическое будущее, он предвидел биржевые последствия подготовляемых им или заблаговременно известных только ему политических актов. — и соответственные его указания золотым потоком возвращались затем к нему с биржи. Наконец, кроме взяток и биржевой игры, был еще и третий заработок: подряды. Талейран имел в своем распоряжении тьму

агентов, которые рыскали по вассальным или полувассальным, зависимым от Франции странам и просили там у правящих лиц подрядов на поставку тех или иных товаров и припасов. Курьезный случай на этой почве произошел в Испании. Когда туда явились из Парижа какие-то проходимцы и чуть не с шантажными намеками и угрозами стали вымогать у испанского короля разные поставки, то французский посол, адмирал Трюгэ, убежденный, что проходимцы действуют на свой собственный риск и страх, выслал их вон из Испании. Но послу Трюгэ очень скоро пришлось убедиться, что за спиной этих пострадавших предпринимателей стоит величественная фигура самого министра Французской республики, князя Талейрана-Перигора. Посол был за недостаточно проворную сообразительность уволен в отставку, а проходимцы, после краткого своего затмения, вновь воссияли в Мадриде.

Могут спросить: неужели на общее направление европейских дел в самом деле оказывали влияние эти взятки и подкупы? Конечно, нет. Не требовалось обладать умом и хитростью Талейрана, чтобы понять, что, например, если генерал Бонапарт завоевал Италию, то никак нельзя заставить ни Директорию, ни генерала вдруг великодушно освободить из когтей свою добычу. Или если Франция требует от Испании помощи флотом в борьбе против Англии, то ни за что французское правительство от этого требования не откажется. Талейран знал, что даже простая его попытка советовать своему правительству явно невыгодные для Франции действия может для него кончиться в лучшем случае немедленным увольнением, а в худшем случае — казнью. Он никогда и не делал и не пытался делать таких нелепых и отчаянных вещей. Он брал взятки лишь за снисходительную редакцию каких-либо второстепенных или третьестепенных пунктов договоров, соглашений, протоколов; за пропуск в той или иной ноте слишком точной и жесткой формулировки; за обещание «содействия» по вопросу, по которому, как он знал, и без его содействия дело уже решено верховной властью Франции в принципе благоприятно для его просителя. Ему платили за ускорение каких-нибудь реализаций; за то, чтобы на три месяца раньше эвакуировать территорию, которую Франция уже согласилась эвакуировать; за то, чтобы на полгода раньше получить субсидию, которую Франция уже обещала дать, и так далее.



Рисунок 15: Вильям Питт (гравюра Аликса с рис. Хикеля).

С точки зрения психологической любопытно отметить, что Талейран желал обнаруживать — и обнаруживал — суровую этику в своих делах со взятокодателями: если взял — исполни; если не можешь — возврати взятку. Например, когда Наполеон, стоя зимним лагерем в Варшаве, приказал Талейрану в январе 1807 года приготовить проект восстановления самостоятельной Польши, то министр тотчас же потребовал от польских магнатов четыре миллиона флоринов золотом. Они устроили складчину, сколотили поспешно четыре миллиона и в срок доставили. Талейран обещал зато уж в самом деле сделать дело старательно и на совесть. И действительно, он подал императору доклад, в котором с глубоким чувством писал о непростительной ошибке Франции, допустившей некогда разделы Польши, и о провиденциальной обязанности его величества восстановить несчастную страну. Но дело повернулось так, что Наполеон, вступив спустя полгода в Тильзите в союз с Александром I, не смог сделать для поляков то, что раньше в самом деле собирался было сделать. Тогда Талейран возвратил четыре миллиона. Правда, этот героический жест мог быть объяснен также страхом, что обиженные и

обманутые поляки доведут обо всем до сведения императора. Могли выйти неприятности...

Во всяком случае, Талейран осторожно и умно обдeldывал эти темные дела и прежде всего никогда не делал даже отдаленной попытки влиять на ход событий в основном и сколько-нибудь важном в ущерб французским политическим интересам. Но при всяком удобном дипломатическом случае он ухитрялся сорвать со своих контрагентов более или менее округленную сумму. Иногда (на первых порах) дело доходило, впрочем, и до скандала; это бывало, когда князю Талейрану случалось нарваться на людей, еще сравнительно недавно приобщенных к старой европейской цивилизации. Так, например, в 1798 году произошла следующая неприятная история. В Париже (еще с осени 1797 года) сидели специальные американские уполномоченные, прибывшие для исходатайствования законно причитающихся американским судовладельцам денежных сумм. Талейран тянул дело, подсылая своих агентов, которые, объясняясь по-английски, заявили туго соображавшим американцам, что министр хотел бы предварительно получить от них «сладенькое», the sweetness так они перевели «les douceurs». «Сладенькое» потребовалось в таких несоответственно огромных размерах, что терпение американское лопнуло. Не только делегаты обратились с формальной жалобой к президенту Соединенных Штатов, своему прямому начальнику, но и сам президент Адамс (в послании к конгрессу) повторил эти обвинения. Американские представители укоризненно вспомнили по этому случаю недавнюю эмиграцию Талейрана. «Этот человек, по отношению к которому мы проявили самое благожелательное гостеприимство, он и есть тот министр французского правительства, к которому мы явились, прося только справедливости. И этот неблагодарный наш гость, этот епископ, отрекшийся от своего бога, не поколебался вымогать у нас пятьдесят тысяч фунтов стерлингов на „сладенькое“, the sweetness, пятьдесят тысяч фунтов стерлингов на удовлетворение своих пороков».

Скандал получился невероятный. Все это было напечатано. Талейран ответил небрежно и свысока, сославшись на каких-то неведомых обманщиков и на «неопытность» американских уполномоченных. Затем поспешил удовлетворить их требования, уже махнув рукою на «сладенькое». Но эти неприятности у него были только с такими неуклюжими, упрямыми дикарями от Миссисипи и Скалистых гор. Европейцы были гораздо терпеливее и избегали скандалов. Да и положение их было опаснее: их не охранял от Франции Атлантический океан.

Одновременно с быстрым наживанием огромных сумм Талейрана озабочивали и другие вопросы. Он тогда не хотел возвращения Бурбо-

нов, потому что если и не боялся «колесования», которым ему грозили эмигранты, то все же понимал, как невыгодна и даже опасна для него реставрация. Поэтому, когда буржуазная реакция стала частично принимать форму реставрационных мечтаний, он очень приветствовал событие 18 фрюктидора — внезапный арест роялистов и ссылку их и разгром роялистской партии. Ему нужна была другая форма этой реакции, — ему нужна была монархия или даже диктатура, но без Бурбонов, то-есть ему нужно было то же, что было или казалось нужно в тот момент «новым богачам» и новым земельным собственникам, всей новой буржуазии: строй, который предохранял бы их не только от Бабефа, не только от прериальцев, но и от нового Робеспьера, и который в то же время делал бы невозможной попытку реставрировать дореволюционные социально-экономические порядки.



*Рисунок 16: Прериаль, III год революции (23 мая 1795 г.).
Восстание в Сент-Антуанском предместье (рис. Жирарде).*

И все внимательнее и льстивее, все почтительнее и сердечнее делались талейрановские деловые письма к воевавшему за Альпами молодому генералу. Талейран ему уже в 1797 и 1798 годах писал не как министр генералу, командующему одною из нескольких армий республики, а скорее как верноподданный, влюбленный в своего монарха. Он один из первых предугадал Бонапарта и понял, что это не просто победоносный рубака, а что-то гораздо более сложное и сильное. Он понял, что этот человек посильнее «адвокатов» и что следует поэтому заблаговременно прикрепить свою утлую ладью к этому выплывающему на простор большому кораблю. Тут уместно было бы сказать хоть несколько слов

для общей характеристики отношений Талейрана к Наполеону, тем более, что значительная часть его мемуаров касается именно эпохи наполеоновского единодержавия. Конечно, собственные заявления Талейрана можно тут оставить в стороне: они дают понятие только о том, в каком свете ему хотелось бы представить свои отношения к императору, — и больше ничего не дают. Вглядимся в факты и наблюдения посторонних лиц.



Рисунок 17: Мадам де Сталь (гравюра Пьера Луи Бувье).

Несомненно, что Талейран постиг раньше очень многих, какие дарования, какие возможности заложены в этом угрюмом молодом полководце, такими неслыханными подвигами начавшем свою военную карьеру. Казалось бы, что общего могло быть между этими двумя людьми? Один — изящный, изнеженный представитель старинной аристократии, другой — из обедневших дворян далекого, дикого, разбойничьего острова. Один — всегда (кроме времени эмиграции) имевший возможность прокучивать за пиршественным или игорным столом больше денег за один вечер, чем другой мог бы истратить за несколько лет своей казарменной жизни. Для одного все было в деньгах и наслаждениях, в сибаритизме, и даже внешний почет был уже делом второстепенным; для другого слава и власть, точнее, постоянное стремление к ним, были основной целью жизни. Один к сорока трем годам имел прочную репутацию вместилища чуть ли не всех самых грязных пороков, но был министром иностранных дел. Другой имел репутацию замечательного полководца и к двадцати восьми годам был уже завоевателем обширных и густо насе-

ленных стран и победителем Австрии. Для одного политика была «наукой о возможном», искусством достигать наилучших из возможных результатов с наименьшими усилиями; у другого — единственное, чем никогда не мог похвалиться его необычайный ум, было именно недоступное ему понимание, где кончается возможное и где начинается химера. Но и роднило их тоже очень многое. Во-первых, в тот момент, когда история их столкнула, они стремились к одной цели: к установлению буржуазной диктатуры, направленной острием своего меча и против нового Бабефа, и против нового Робеспьера, и против повторения Преиала, и одновременно против всяких попыток воскрешения старого режима. Было тут, правда, и отличие, но оно еще более их сблизило: Бонапарт именно себя, и никого другого, прочил в эти будущие диктаторы, а Талейран твердо знал, что сам-то он, Талейран, ни за что на это место не попадет, что оно и не по силам ему, и ненужно ему, и вне всяких его возможностей вообще, а что он зато может стать одним из первых слуг Бонапарта и может получить за это гораздо больше, чем все, что до сих пор могли дать ему «адвокаты». Во-вторых, сблизали этих обоих людей и некоторые общие черты ума: например, презрение к людям, нежелание и непривычка подчинять свои стремления какому бы то ни было «моральному» контролю, вера в свой успех, спокойная у Талейрана, нетерпеливая и волнующая у Бонапарта.

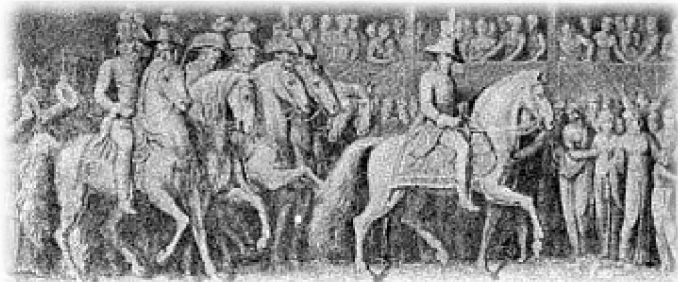


Рисунок 18: Триумфальное возвращение Бонапарта в Париж после Кампоформийского мира (декоративная композиция Анпиани).

Эмоциональная жизнь Бонапарта была интенсивной, посторонним наблюдателям часто казалось, что в нем клокочет какой-то с трудом сдерживаемый вулкан; а у Талейрана все казалось мертво, все застыло, подернулось ледяною корой. В самые трагические минуты князь еле цедил слова, казался особенно индифферентным. Было ли это притворством? В таком случае он артистически играл свою роль и никогда почти себя не выдавал. Бонапарт был гораздо образованнее, потому что был

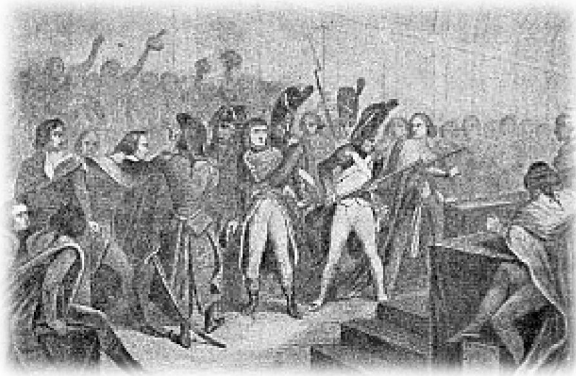


Рисунок 19: 18 брюмера, VIII год революции, 2-й день государственного переворота (гравюра Марки с рис. Жоанно).

любопытнее Талейрана. Затруднительно даже представить себе, чтобы Талейран тоже мог заинтересоваться каким-то средневековым шотландским бардом Оссианом (хотя бы в макферсоновской фальсификации), или гневаться на пристрастия Тацита, или жалеть о страданиях молодого Вертера, или так беседовать с Гете и с Виландом, как Наполеон в Эрфурте, или толковать с Лапласом о звездах и о том, есть ли бог или нет его. Все сколько-нибудь «абстрактное» (то-есть, например, вся наука, философия, литература), не имеющее прямого или хоть косвенного отношения к кошельку князя Талейрана, было ему глубоко чуждо, ненужно, скучно и даже, кажется, попросту противно.

Понимали ли эти две натуры друг друга? «Это — человек интриг, человек большой безнравственности, но большого ума, и, конечно, самый способный из всех министров, которых я имел», — так отзывался к концу жизни Наполеон о Талейране. И все-таки Наполеон его недооценивал и слишком поздно убедился, как может быть опасен Талейран, если его интересы потребуют, чтобы он предал и продал своего господина и нанимателя. Что касается Талейрана, то весьма может быть, что он и не жет, когда утверждает, будто искренно сочувствовал Наполеону в начале его деятельности и отошел от него лишь к концу, когда начал понимать, какую безнадежно опасную игру с судьбой и какое насилие над историей затеял император, к какой абсолютно несбыточной грандиозной цели он стремится. То-есть, конечно, тут надо понимать дело так, что Талейран убоялся не за Францию, как он силится изобразить, ибо «Франция» тоже была для него абстракцией, но за себя самого, за свое

благополучие, за возможность спокойно пользоваться, наконец, нажитыми миллионами, не прогуливаясь ежедневно по самому краю пропасти.

Во всяком случае, если бы князь Талейран вообще был способен «увлечься» кем-нибудь, то можно было бы сказать, что в последние годы пред 18 брюмера и в первые годы после 18 брюмера он именно «увлекся» Бонапартом. Он считал, что над Францией нужно проделать геркулесову работу, и видел тогда именно в Бонапарте этого Геркулеса. Он не тягался с ним, не соревновался, с полной готовностью, конечно, признавал, что их силы и их возможности абсолютно несоизмеримы, что Бонапарт будет всегда повелителем, а он, Талейран, будет слугой.

Уже 10 декабря 1797 года (20 фримера VI года по революционному календарю), когда в Париже происходило торжественное чествование только что вернувшегося из Италии в Париж победоносного Бонапарта, Талейран произнес в присутствии Директории и массы народа речь, полную самой верноподданнической лестии, как будто Бонапарт уже был самодержавным монархом, а не простым республиканским генералом, и вместе с тем Талейран умудрился подчеркнуть мнимую «скромность» генерала, его (никогда не существовавшее) желание удалиться от шумного света под сень уединения, и так далее, — все то, что было необходимо, чтобы ослабить подозрения касательно будущего диктатора и уже проснувшееся неопределенное беспокойство Директории за собственное свое существование.

Дружба этих двух людей была непосредственно вслед за тем скреплена грандиозным новым предприятием генерала Бонапарта: нападением на Египет. Для Бонапарта завоевание Египта было первым шагом к Индии, угрозой англичанам. Для Талейрана, как раз тогда выдвинувшего идею создания новых колоний, Египет должен был стать богатою французскою колонией. Талейран горячо защищал этот проект перед Директорией, особенно подчеркивая огромные торговые перспективы, связанные с завоеванием этой страны. Экспедиция была решена. Бонапарт с лучшими войсками уехал в Египет, а для Директории наступили вскоре трудные дни. Снова пол-Европы шло на Францию. В Италию явился великий русский полководец Суворов, и плоды бонапартовских побед были потеряны. Непопулярность Директории росла со дня на день: министров — и особенно Талейрана — обвиняли в измене в том, что они нарочно, в угоду врагам, услали в Египет Бонапарта который мог бы спасти отечество, и так далее. Талейрану непременно нужно было отделиться во-время от непопулярного правительства, и он, придравшись к одному делу о клевете, за которую он привлек к суду клеветника, но не

получил удовлетворения, подал довольно неожиданно в отставку. Случилось это 13 июля 1799 года. Неделю спустя, 20 июля, отставка была принята, а спустя три месяца, 16 октября в Париж прибыл из Египта неожиданный и неприятный для Директории гость — генерал Бонапарт. Восторги и овации, которыми он был встречен на всем долгом пути от Фрежюса, где он высадился с корабля еще 9 октября, до Парижа, ясно показали всем и каждому, что Директории осталось жить недолго. И в самом деле: она просуществовала ровно двадцать три дня, считая с момента появления Бонапарта в столице.

Эти двадцать три дня были временем сложнейших и активнейших интриг Талейрана. Завоеватель Италии, завоеватель Египта, популярнейший человек во всей Франции нуждался в нем, в опытном политическом дельце, знающем все ходы и выходы, все пружины правительственного механизма, все настроения директоров и других первенствующих сановников. И Талейран верой и правдой служил в эти горячие три недели восходящему светилу, расчищая путь для государственного переворота. В самый день переворота, 18 брюмера (9 ноября 1799 года), на долю Талейрана выпала деликатная миссия — побудить директора Барраса добровольно подать немедленно в отставку. Бонапарт при этом вручил Талейрану для передачи Баррасу довольно крупную сумму денег, цифра которой до сих пор не установлена в точности. Талейран встретил, однако, у струсившего на сей раз, хотя вообще неробкого, Барраса полную и немедленную готовность подать в отставку и так обрадовался этой неожиданно подвернувшейся возможности оставить за суматохою в собственном кармане приготовленную было для Барраса сумму, что в порыве благодарности бросился... целовать руки директора, с жаром изъявляя ему за его «добровольную» отставку признательность от имени отечества. Обо всем этом повествует Баррас, разузнавший лишь впоследствии, как дорого в денежном смысле обошлась ему излишняя поспешность в самоустранении, проявленная им в утренние часы 18 брюмера при разговоре с Талейраном. Сам Талейран, конечно, скромно умалчивает обо всем этом происшествии, очевидно, не считая, чтобы стоило утруждать внимание потомства такими мелочами.

Дни 18 и 19 брюмера 1799 года отдали Францию в руки Бонапарта. Республика кончилась военной диктатурой. А спустя одиннадцать дней после переворота первый консул Бонапарт назначил Талейрана своим министром иностранных дел.

Эти решающие дни, вечер 18-го и весь день 19 брюмера, Талейран провел в Сен-Клу. Он предусмотрительно все-таки запаса экипажем и двумя кровными рысаками, в породистости которых был вполне уверен.

Удастся генералу Бонапарту переворот — можно будет спокойной ино-
ходью возвратиться в Париж, прямо в министерство иностранных дел.
Не удастся переворот и убьют Бонапарта — можно будет на рысях, пере-
ходящих в галоп, умчаться за границу.

Глава вторая

**ТАЛЕЙРАН ПРИ КОНСУЛЬСТВЕ
И ИМПЕРИИ**

Талейран и при империи, и после империи, до конца дней своих, утверждал то, о чем говорит и в мемуарах: «Я любил Наполеона; я даже чувствовал привязанность к его личности, несмотря на его недостатки; при его выступлении я чувствовал себя привлеченным к нему той непреодолимой обаятельностью, которую великий гений заключает в себе; его благодеяния вызывали во мне искреннюю признательность... Я пользовался его славой и ее отблесками, падавшими на тех, кто ему помогал в его благородном деле». Мы теперь знаем также, что даже в своем политическом завещании¹ составленном 1 октября 1836 года, когда ему было восемьдесят два года, когда царствовал Луи-Филипп, когда престарелому князю уже ничего ни от кого не было нужно, когда династия Бонапартов считалась актом Венского конгресса навсегда исключенной из престолонаследия и никто не мог предвидеть, что этой династии еще раз суждено в будущем царствовать, Талейран писал: «Поставленный самим Бонапартом в необходимость выбирать между ним и Францией, я сделал выбор, который мне предписывался самым повелительным чувством долга, но сделал его, оплакивая невозможность соединить в одном и том же чувстве интересы моего отечества и его интересы. Но тем не менее я до последнего часа буду вспоминать, что он был моим благодетелем, ибо состояние, которое я завещаю моим племянникам, большую часть пришло ко мне от него. Мои племянники не только должны не забывать этого никогда, но должны сообщить это своим детям, а их дети — тем, кто родится после них, так, чтобы воспоминание об этом было увековечено в моей семье из поколения в поколение, чтобы, если какой-либо человек, носящий фамилию Бонапарта, очутится в таком положении, когда он будет иметь надобность в поддержке или помощи, чтобы мои непосредственные наследники или их потомки оказали ему всевозможную зависящую от них помощь. Этим способом более, чем каким-либо другим, они покажут свою признательность ко мне, — почтение к моей памяти».

В чем тут дело? Зачем он твердил всегда и писал все это? Почему он выделял так упорно Наполеона из всех правительств и людей, которых он на своем долгом веку предал и продал? Могло быть отчасти, что единственно только Наполеон из всего множества жизненных встреч Талейрана в самом деле ему импонировал своим умом, своими гениаль-

¹ Его впервые опубликовал в 1931 году Лакур-Гайе в своей новейшей четырехтомной работе о Талейране.

ными и разнообразными способностями, свою гигантской исторической ролью. Отчасти же могло быть и то, что Талейран наиболее сильные свои эмоции обнаруживал хоть, правда, в редчайших, единичных случаях, но всегда исключительно в связи со своей неутолимой страстью к стяжанию, к золоту; мы уже видели, например, как он вел себя в первые минуты после назначения министром в 1797 году или 18 брюмера 1799 года, когда сообразил, что может присвоить себе тишком сумму, предназначенную для подкупа Барраса. Если в этой холодной, мертвенной душе могло зародиться нечто, похожее на чувство благодарности за быстрое обогащение, то, в самом деле, это чувство могло больше всего быть заронено в нее именно Наполеоном.

Что такое была для Талейрана наполеоновская империя? Блеск и неслыханная роскошь придворной жизни, которые изумляли даже выдавшего виды русского посла, екатерининского вельможу Куракина; положение министра, служащего самодержавному и могущественнейшему владыке богатейших и культурнейших в мире земель и народов, конгломерат которых превышал в Европе размеры былой Римской империи; пресмы-



Рисунок 20: Мадам Гран, княгиня Талейран
(портрет работы Виже-Лебрен).

кающиеся перед ним, Талейраном, короли, королевы, герцогини, великие герцоги, курфюрсты; непрерывная лесть, раболепное преклонение, заискивание со стороны бесчисленных коронованных и некоронованных вассалов; и — золото, золото, золото, бесконечным потоком льущееся в его карманы.

Его светские успехи в это время были неимоверны, и в свои пятьдесят лет он оказывался так же неотразим для женщин, как и в самую цветущую пору молодости.

Одна из этих любовных авантур окончилась очень неожиданно для князя — его женитьбой. Вот как это случилось.

Еще в 1798 году Талейран, министр иностранных дел при Директории, познакомился с молодой разведенной женой одного индийского чиновника, госпожой Гран, которая и родилась и воспитывалась в Индии. Ее заподозрили в переписке с эмигрантами, когда она поселилась в Париже, и арестовали. Талейран и устно и письменно ходатайствовал за нее перед Баррасом, — и Директория (не без труда) ее освободила. Госпожа Гран была необыкновенно красива лицом и обладала классически прекрасной фигурой. Талейран увлек ее, как он всегда умел очаровывать женщин, которыми желал овладеть. Она в конце концов поселилась у него в доме. Дело было в 1802 году. Но тогда жены послов и другие дипломатические дамы дали понять, что они оскорблены в своих высоко нравственных чувствах и что поэтому отныне не будут посещать балов в министерстве иностранных дел. Неприятная история эта дошла до Наполеона. Сначала он предложил Талейрану на выбор: или прогнать немедленно из дома госпожу Гран — или (тоже немедленно) с ней обвенчаться. А, повидавшись с госпожой Гран, первый консул стал настаивать именно на женитьбе своего министра. По слухам, ходившим в тогдашних светских кругах в Европе, Бонапарта деликатно уведомили (может быть, по наущению самого Талейрана), что госпожа Гран отличается совсем непопулярными, из ряда вон выходящими размерами глупости. Но, как известно, Наполеон вовсе не считал для женщин ум предметом первой необходимости. Он остался поэтом непреклонен. Талейран знал, что Наполеон, будучи деспотом с ног до головы, кого угодно женил на ком хотел и выдавал замуж за кого хотел и разводил с кем хотел. Именно по поводу брака Талейрана Фредерик Лолье привел из неизданных семейных архивов следующий случай. Наполеон однажды приказывает явиться владетельному западногерманскому князю Аренбергу и объявляет ему без малейшего предупреждения: «Вы завтра женитесь». — «Государь, мое сердце несвободно, избранная мной невеста рассчитывает на мое слово и на то, что мы с ней связаны навеки». — «Ну, что же, раз-

вяжитесь (*désengagez vous*). Вы женитесь завтра, и женитесь на той, которую я вам назначаю. Если же вы будете представлять возражения, то мы с вами увидимся в Венсенском замке!» Сватовство после этого возымело моментальный успех. На другой же день вечером свадьба состоялась. Новобрачная, которая давно уже была тоже со своей стороны обручена с другим, узнала о своей участи и об имени своего нового жениха так же внезапно, как Аренберг об имени своей новой невесты.

Талейран понимал, что если так обращаются с суверенными князьями, то с ним и подавно не будут церемониться. Да при наполеоновском дворе даже и в голову не могло прийти сопротивляться воле владыки. Раздумывать было бесполезно. Талейран махнул рукой и вступил в законный брак.

По преданию, Талейран, еще когда при Директории хлопотал об освобождении этой красавицы, в которую был уже тогда влюблен, говорил об этой своей будущей жене властям: «Примите во внимание, что она глупа до самой крайней степени вероятия и не в состоянии ничего понимать». В великосветском кругу одни ее прозвали индюшкой, а другие упорно настаивали, что это опрометчивое приравнивание незаслуженно и безответственно оскорбляет названную птицу. Индюшкой же княгиню Талейран стали называть после того, как она громогласно заявила на одном рауте: «Я — из Индии» (*«Je suis d'Inde»*), — а эта фраза звучит по-французски так: «Я — индюшка» (*«Je suis dinde»*).

Большой роли эта особа в жизни Талейрана не играла. «Ведь глупая жена не может компрометировать умного мужа, — говаривал князь Талейран: — компрометировать может только такая, которую считают умной».

Супруги впоследствии жили раздельно с тех пор, как Талейран прибрилиз к себе и поселил у себя жену своего племянника, герцогиню Дино, которая и стала хозяйкой его дома до самой смерти князя.

При дворе карьера Талейрана развертывалась с каждым годом все шире и ярче. Его звезда была в зените.

Наполеон последовательно сделал его министром иностранных дел, великим камергером, великим электором, владетельным князем и герцогом Беневентским. Даже не считая оклада министра иностранных дел, Талейран получал за все эти должности без малого полмиллиона франков золотом в год (495 тысяч, а с министерским окладом — больше 650 тысяч в год). Для сравнения напомним, что в эти самые годы рабочая семья в Париже, получавшая от общей работы всех ее членов полторы тысячи франков в год, считалась благоденствующей и наредкость взысканной милостями судьбы.

Кроме колоссальных законных доходов, у Талейрана были и тайные доходы, несравненно более значительные, о точных размерах которых можно лишь догадываться по некоторым случайно ставшим известными образцам. Эти нелегальные доходы исчислялись не сотнями тысяч, а миллионами. Наполеон, завоевывая Европу и превращая в вассалов и покорных данников даже тех государей, которым он оставлял обрывки их владений, постоянно тасовал и менял этих подчиненных ему крупных монархов и мелких царьков, перебрасывал их с одного трона на другой, урезывал одни территории, прирезывал новые уделы к другим территориям. Заинтересованные старые и новые, большие и маленькие монархи вечно обивали пороги в Тюильрийском дворце, в Фонтенебло, в Мальмезоне, в Сен-Клу. Но Наполеону было некогда, да и не легко было застать его и получить аудиенцию при непрерывных его войнах и походах. И, кроме того, Наполеон принимал свои решения, только выслушав доклад своего министра иностранных дел. Можно легко себе представить, какие беспредельные возможности открывались на этой почве перед князем Талейраном. Тут уже дело могло идти не о скромном «сладеньком» (sweetness) в какие-нибудь пятьдесят тысяч фунтов стерлингов, по поводу которых так неприлично скандалила в свое время неотесанная деревенщина из Соединенных Штатов. Впрочем, даже и эти косопалые дикари из девственных прерий очень скоро в конце концов привыкли к столичному обхождению, и, например, когда Роберт Ливингстон заключал от имени Штатов торговый договор с Францией, то он уже беспрекословно выложил Талейрану предварительно два миллиона франков золотом, во избежание проволочек. (Проволочек не последовало.) Когда Наполеон заключил мир с Австрией после победы своей при Маренго, то он подарил Талейрану за труды триста тысяч франков, что не помешало Талейрану получить одновременно и от императора австрийского Франца четыреста тысяч франков, а кроме того, ловко маневрируя в деле о замаскированной контрибуции, которую должна была уплатить Австрия, Талейран заработал на внезапном подписании и обнаружении мирного (Люневильского) трактата около пятнадцати миллионов франков. Из этих пятнадцати миллионов семь с половиной миллионов были им получены «авансом» еще во время переговоров. По существу дела далеко не всегда можно определить цифру его взятки. Например, когда Наполеон приказал продать Луизиану Соединенным Штатам, то переговоры о сумме вел Талейран, и американцы вместо восьмидесяти миллионов, о которых шла речь вначале, уплатили Франции всего пятьдесят четыре миллиона: точная цена аргументов, которыми американцы вызвали такую широкую уступчивость со стороны

французского министра иностранных дел Талейрана, осталась невыясненной и доселе.



Рисунок 21: Герцогиня Курляндская, впоследствии княгиня Талейран де Перигор, герцогиня Дино (рисунок Жакоба).

Знал ли Наполеон о том, как его обманывает и обворовывает его министр? Конечно, знал, точно так же, как Петр I знал о проделках Александра Даниловича Меншикова. И Наполеон по той же самой причине долго не прогонял прочь Талейрана, по которой Петр не гнал, а только бил Меншикова дубиной. Наполеон, впрочем, не колотил Талейрана дубиной, а только один раз (хотя, правда, с чрезвычайной затратой мускульной энергии) схватил его публично за шиворот; но расстался с ним нехотя, не скоро — и в сущности не из-за взяток. Очень уж он был нужен и полезен Наполеону. Император, разумеется, знал и презирал Талейрана за его характер и за его «мораль» (если позволительно тут до курьеза некстати употребить этот термин), но он восхищался тем, как умеет работать эта голова, как умеет она искать и сразу находить разрешение самых сложных и запутанных проблем. А за это он прощал все. В огромной апокрифической литературе о Наполеоне, распространенной во Франции уже в половине девятнадцатого столетия, передается фраза, будто бы сказанная Наполеоном относительно министра полиции Фуше

после провокаторского раскрытия Фуше одного террористического заговора: «Те, кто хочет меня убить, дураки; а те, кто меня от них спасает, — подлецы». Вероятно, он ничего подобного во всеуслышание не говорил. Но такой апокриф мог легко возникнуть, потому что всем хорошо было известно, как император относится к Фуше. Талейрана он, в смысле нравственных качеств, иногда приравнивал к Фуше, но в оценке интеллекта, конечно, никогда не ставил их на одну доску.

Полицейская, шныряющая, подпольная хитрость и провокаторская ловкость Фуше были нужны Наполеону для охраны своей жизни, а государственный ум Талейрана был ему нужен для оформления, систематизации и окончательной реализации тех грандиозных задач, в которых Наполеон видел свою историческую славу. Талейран не подсказывал ему, что нужно сделать, но давал превосходные советы о том, как лучше сделать желаемое императором. Талейран, старорежимный вельможа, умел передать как следует повеление Наполеона, умел провести трудное объяснение с иностранными дипломатами без той резкости и казарменной грубости, без тех приступов гнева, которые далеко не всегда были чисто актерскими выходками у Наполеона и которые именно в тех случаях, когда не были умышленным комедианством, очень вредили императору. Талейран жил «душа в душу» с Наполеоном все первые восемь лет диктатуры, и — что бы он впоследствии ни утверждал — никогда он в эти годы не отважился остановить Наполеона, уговорить его хоть несколько умерить территориальное и всяческое иное завоевательное грабительство, никогда он не пытался давать советы умеренности и благоразумия, на которые он так щедр задним числом в своих мемуарах. Он изменил Наполеону лишь тогда, когда убедился в своевременности и выгоды для себя этого поступка. Но это было лишь впоследствии. Талейран хотел бы навязать себе в глазах читателей его мемуаров роль шиллеровского маркиза Позы, говорившего правду Филиппу II, или (если бы он знал русскую историю) роль, аналогичную позиции князя Якова Долгорукого при Петре, — (словом, опасное, но почетное амплу бесстрашного правдолюбца, видящего честную свою службу в том, чтобы удерживать тирана от необузданного произвола. Эта претензия до курьеза необоснована: он и пальцем не двинул, чтобы хоть один раз удержать или успокоить Наполеона, предостеречь его от несправедливости или жестокости. Лучшим в этом отношении примером может послужить кровавое дело о казни герцога Энгиенского, с которым крепко связано имя Талейрана, несмотря на упорные его усилия скрыть и извратить истину; а ведь Талейран доходил даже до специальных поисков и ис-

требления официальных документов уже в начале Реставрации (в апреле 1814 года).

Роль Талейрана в этой драме такова. Именно Талейран ложно указал Наполеону (в разговоре 8 марта 1804 года), будто живущий на баденской территории герцог Энгийенский руководит заговорщиками, покушающимися на жизнь первого консула, и заявил при этом, что очень легко и удобно приказать начальнику пограничной жандармерии, генералу Коленкуру, просто-напросто послать отряд жандармов на баденскую территорию, схватить там герцога Энгийенского и привезти его в Париж. Маленькое затруднение было в том, что приходилось таким образом среди мира вдруг вопиюще нарушить неприкосновенность чужой территории. Но Талейран сейчас же взялся уладить и оформить дело и написал соответствующую бумагу баденскому правительству, причем, чтобы не дать герцогу Энгийенскому возможности как-нибудь проведать и бежать из Бадена, Талейран поручил генералу Коленкуру передать это



*Рисунок 22: Герцог Энгийенский ребенком
(портрет работы Шиллинга).*

письмо, полное лживых обвинений, баденскому министру уже после ареста и увоза во Францию герцога Энгиенского.

Герцог Энгиенский был схвачен французскими жандармами, привезен в Венсеннский замок, немедленно судим военным судом и в ту же ночь расстрелян, несмотря на полнейшее отсутствие улик. Сам Наполеон, никогда не любивший сваливать на кого бы то ни было ответственность за свои поступки, через много лет в припадке гнева, как увидим далее, в глаза и публично бросил Талейрану роковые слова: «А этот человек, этот несчастный? Кто меня уведомил о его местопребывании? Кто подстрекал меня сурово расправиться с ним?» И Талейран ничего не посмел ответить. Он, таким образом, принял деятельное и, по существу, инициативное участие в этом кровавом событии. Ему это было нужно, во-первых, чтобы доказать Наполеону ретивость свою в охране его жизни от покусителей, во-вторых, чтобы терроризовать роялистов казнью принца Бурбонского дома, так как Талейран продолжал все время опасаться за свою участь в случае реставрации старой династии. Словом, ему это убийство показалось тогда полезным, — он и подтолкнул на это дело Наполеона и активно помог в совершении самого акта.



Рисунок 23: Фуше

Это ему нисколько не помешало представить в своих мемуарах дело так, будто он был решительно ни в чем неповинен и всецело осуждал варварский поступок Наполеона. Это ему не помешало также (что гораздо любопытнее и с психологической стороны гораздо затейливее) разыграть впоследствии в самом деле потрясающую сцену встречи с отцом расстрелянного герцога Энгийенского, сцену, которую и Шекспир сразу не выдумал бы.

Дело было в 1818 году, уже при Реставрации. Князь Талейран состоял тогда великим камергером при короле Людовике XVIII (на той же самой придворной должности, как и при Наполеоне I), и ему было очень неприятно, что как раз тогда, в 1818 году, переселился в Париж старый принц Конде, отец расстрелянного за четырнадцать лет до того герцога Энгийенского. Старик все не мог утешиться в потере своего единственного, обожаемого им с детства сына. Предстояла тягостная встреча этого королевского родственника с великим камергером Талейраном. Было неловко. Тогда Талейран очень искусно устраивает себе знакомство с близкой принцу Конде женщиной и рассказывает ей великую, святую тайну, которую доселе скромно хранил в благородной груди своей, но теперь, так и быть, поведает: не только на него напрасно клеветуют, укоряя в убийстве герцога Энгийенского, но он, князь Талейран, даже своей собственной головой рискнул, лишь бы спасти несчастного молодого человека! Да! Он послал тайком письмо с предупреждением герцогу, чтобы тот немедленно спасался, но герцог не внял совету, остался — и на другой день был схвачен французскими жандармами и увезен в Венсенн. Ясно, что, узнай Наполеон об этом отчаянном поступке своего министра, — и голова Талейрана скатилась бы на гильотине. Можно ли требовать от человека большего благородства и великодушия?.. Излишне прибавлять что-либо о полной вздорности этой курьезнейшей выдумки. Но, как это ни странно, принц Конде поверил (не следует забывать, что улики против Талейрана тогда еще не были полностью известны), и при ближайшей встрече старик бросился со слезами благодарить Талейрана за самоотверженные, почти геройские, хотя, увы, и безуспешные усилия спасти его несчастного сына. Талейран принял эти изъявления признательности с тем же тактом, с тою же спокойной сдержанностью и достойной скромностью, с какими тогда, при Наполеоне, он принял особые награды (в том числе командорскую ленту Почетного легиона), посыпавшиеся на него; вскоре после расстрела герцога Энгийенского, за его заслуги в деле обнаружения и ареста герцога. Эти награды Талейран получил как раз перед принятием Наполеоном императорского титула.

II

Прошли торжества коронации Наполеона, на которых Талейран играл блестящую и пышную роль, и замелькали феерические события всей императорской эпопеи: непрерывные роскошные балы в Париже и окрестных дворцах, изредка поездки Талейрана в новый его собственный замок Валансэ, колоссальный и роскошно убранный, поездки в свите императора то в Булонь, откуда готовилось нападение на Англию, то в поход против Австрии, в Вену и к Аустерлицу, то в поход против Пруссии, в Берлин, в Варшаву, в Тильзит, то опять в Париж, где жизнь для осыпаемого милостями и наградами императорского министра протекала в роскоши, в почете, в новых любовных приключениях, в наслаждениях всякого рода, в аудиенциях и доверительных беседах с императором, когда он первый узнавал о предстоящих переменах в судьбах Европы и получал инструкции. Попрежнему он не отваживался противоречить Наполеону, напротив, поддакивал ему во всем, даже не заикнулся, например, о том, что считает губительной мерой континентальную блокаду, провозглашенную Наполеоном 21 ноября 1806 года в Берлине. А Талейран считал ее таковою. Разгром Пруссии окончательно сделал Наполеона полным хозяином всей Германии. Все пресмыкались во прахе перед императором, и все чаяли себе спасения только в милостивом заступничестве со стороны Талейрана. Наполеон, довольный преданностью и полнейшей вассальной покорностью со стороны саксонского курфюрста, пожаловал ему королевский титул. Он собирался сначала увезти из знаменитой Дрезденской картинной галереи все лучшие картины в Париж. Новоиспеченный король в ужасе бросился к Талейрану, который, выбрав хорошую минуту, обратил внимание Наполеона на то, как огорчительно будет для верного саксонского союзника, если у него вдруг отнимут и увезут его галерею. «Да, он превосходный человек, не следует его огорчать. Я дам приказ ничего там не трогать», оказал император, — и галерея была спасена. Саксонский король в знак благодарности за все эти милости дал Талейрану миллион франков золотом. Вообще говоря, золотой дождь продолжал литься на министра иностранных дел. Тратил он деньги тоже совсем без счета и на украшение своего великолепного замка в Валансэ и дворца в Париже, и на волшебные-роскошные балы, банкеты и ужины, где бывало по пятьсот человек приглашенных, и на охоты, и на карточную игру, — а новые и новые груды золота пополняли его кассу.

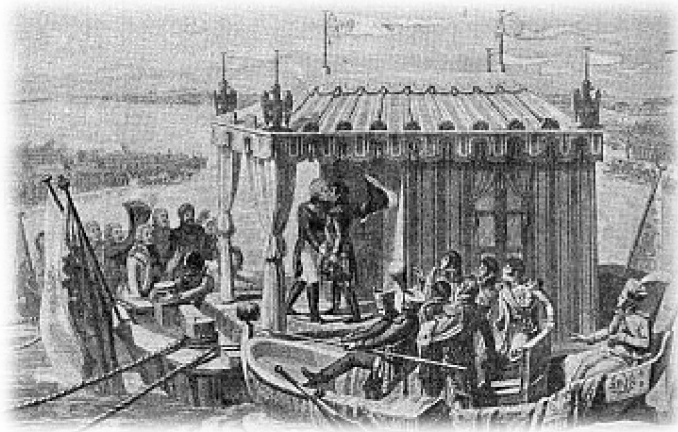


Рисунок 24: Свидание Александра I и Наполеона на плоту на Немане в Тильзите 25 июня 1812 г. (гравюра Алле с рис. Дебре).

Но в эту новую войну, 1806 и 1807 годов, Талейран стал (впервые серьезно ставить перед собой один жуткий вопрос: чем все это кончится? Правда, счастье продолжало сопутствовать Наполеону. Пруссия была раздавлена и ампутирована Тильзитским трактатом так, что от нее остался лишь какой-то небольшой обрубок; русская армия потерпела поражение под Фридландом; в Тильзите Александр принужден был вступить с Наполеоном в союз. Но Талейран хорошо помнил недавнее страшное побоище при Эйлау, где легло много десятков тысяч с каждой стороны и где, в сущности, русские вовсе не были разбиты, вопреки наполеоновскому бюллетеню. Талейран с беспокойством провел эти четыре месяца между Эйлау и Фридландом. Все, в конце концов, обошлось и на этот раз благополучно: Наполеон вернулся в Париж с новой силой, с новым блеском, с новым колоссальным приращением могущества. Но надолго ли?

Талейран видел ясно, что на этом пути остановиться трудно и что Наполеон, хочет итти и уже идет прямой дорогой к созданию мировой империи, которая для своей консолидации потребует опрокинуть два оставшихся препятствия — Англию и Россию. Князь убежден был, что дело затеяно фантастическое, несбыточное и что Наполеон не может не погибнуть, если будет упорствовать.

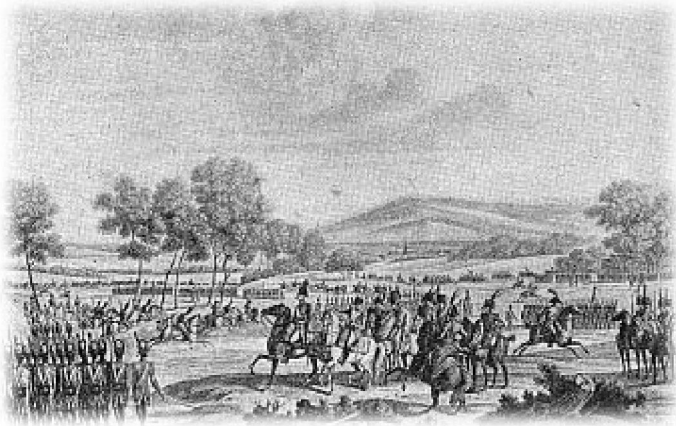


Рисунок 25: Парад войск перед Наполеоном и Александром в Тильзите 28 июня 1807 г. (гравюра Бовилье с рис. Свебаха).

Всемирная монархия, если и осуществилась бы, то на мгновение, и неизбежная гибель ненасытного завоевателя повлечет за собою катастрофу для Франции. Именно этим соображениям Талейран и приписывает внезапную свою отставку, последовавшую сейчас же после Тильзитского мира, 10 августа 1807 года. Именно ненасытная завоевательная жадность и жестокость Наполеона в Тильзите и заставила Талейрана решиться на этот шаг. «Я не хочу более быть палачом Европы», якобы сказал при этом уходящий министр. В тираническом самовластии победителя и повелителя Европы он видел неминуемый зародыш новых войн и конечной гибели Наполеона и хотел во-время отойти и «думать о будущем». Таково объяснение отставки со стороны наиболее заинтересованного лица, то-есть самого Талейрана. Послушаем теперь объяснение Наполеона: «Это талантливый человек, но с ним ничего нельзя сделать иначе, как платя ему деньги. Король баварский и король вюртембергский приносили мне столько жалоб на его алчность, что я отнял у него портфель». Где же правда? Как иногда (далеко не всегда) бывает, истина на этот раз, вероятно, обретается «посредине». Талейрана в самом деле напугал Тильзит именно тем, что полная победа над всей Западной Европой и одновременное принуждение императора Александра I к союзу делали Наполеона полным хозяином поработанного европейского континента, что, по существу, не могло не быть причиной новых отчаянных и кровопролитнейших войн; и действительно, министр Талейран уже искал себе нужного положения в том далеком будущем, когда выгоднее будет быть не с Наполеоном, а против Наполеона. Он по-

этому непрочь был уйти после Тильзита, может быть, даже еще после Эйлау. Но, с другой стороны, прав по-своему и Наполеон, полагавший, что это он, император, прогнал Талейрана за слишком бесцеремонные вымогательства у вассальных королей. Было и то и другое. Наполеон, конечно, стал выговаривать Талейрану по поводу этих грабительских и взяточнических поступков. Но ведь император не в первый, а в десятый раз говорил со своим величавым министром на эту щекотливую тему, и тот всегда умел тактично выслушать, с достоинством раскланяться и сановито помолчать или перевести разговор на менее щекотливые предметы. Но на этот раз, когда Талейран уже сам подумывал об уходе, он, конечно, мог ухватиться за предлог, мог обнаружить внезапную обидчивость и подать в отставку.



Рисунок 26: Александр I (гравюра Одуэна с рис. Бурдона).

Он это и сделал так тонко и умно, что еще сам же Наполеон почел нужным щедро вознаградить своего уходящего министра, и спустя четыре дня после подачи в отставку император дал указ сенату, которым

объявлял о назначении Талейрана, князя Беневентского, великим вице-электором, с титулом «высочества» (как принцы императорской фамилии) и с наименованием «светлейшего» (*serenissime*), а сверх того — с окладам в триста тысяч франков золотом в год. Обязанности же Талейрана состояли отныне лишь в; том, чтобы являться в торжественные дни ко двору в костюме из красного бархата с золотым шитьем и белых атласных панталонах и становиться сбоку около императорского трона. Все это очень устраивало Талейрана. Можно было издали и в безопасности ждать развития событий, отделив отныне личную свою судьбу от судьбы Наполеона, с которым, однако, после этого милостивого назначения отношения установились самые лучшие.

Вообще Талейран решил, что есть полная возможность, уже не неся никакой формальной ответственности, пользоваться беспрепятственно всеми выгодами, которые может дать близость к императору. Затеял Наполеон в 1808 году (собственно, еще в 1807 году, вскоре после Тильзита) завоевание Испании и Португалии. Талейран и тогда и впоследствии относился к этому предприятию, как к проявлению самого дикого, возмутительного и, главное, ненужного произвола, так как обе династии, царствовавшие на Пиренейском полуострове, — Браганца в Португалии, и Бурбоны в Испании, — рабски повиновались Наполеону, трепетали от каждого его слова, ловили на лету его приказы, угадывали и исполняли все желания. Когда затем, весной 1808 года, испанский народ начал совсем неожиданно свое яростное сопротивление завоевателю, тогда и подавно Талейран стал смотреть на этот непотухавший пожар народной войны в Испании, как на начало грядущей катастрофы великой империи. Талейран все это весьма красноречиво излагает и в своих мемуарах и в разговорах с современниками (которым доверял, вроде госпожи де Ремюза), но самого Наполеона он не только не предостерег от гибельного шага, а, напротив, похваливал его, льстил ему и все норовил урвать что-нибудь и для себя лично от этого нового наполеоновского завоевания. Словом, он столь верноподданнически и преданно поддакивал императору, что тот, захватив Фердинанда, наследника испанского, и еще двух принцев испанского дома в Байонне (куда завлек их обманом), отправил этих испанских принцев в качестве пленников в замок Талейрана, в Валансэ, где они и прожили почти до конца империи. Талейран с горечью говорил впоследствии в мемуарах, что император выбрал его поместье, «чтобы сделать его замок тюрьмой» для испанских Бурбонов. Талейран забывает при этом прибавить, что, очевидно, с целью хоть несколько смягчить свою великодушную скорбь по этому поводу, сам он спустя некоторое время стал настойчиво выпрашивать у

казны два миллиона франков на ремонт замка Валансэ, якобы необходимый ввиду содержания там принцев. На самом деле, колоссальнейший и уже до той поры роскошно убранный и меблированный замок с многочисленными пристройками ни малейшего ремонта не требовал для размещения трех человек и нескольких служителей. На их содержание, впрочем, деньги обильно отпускались казною с первых же дней их плена.

Испанский пожар начинал разгораться. Европейские вассалы и королевские рабы Наполеона, глядя на Испанию, начали смутно надеяться; ходили слухи об австрийских вооружениях; среди германской университетской молодежи возникало брожение против грозного завоевателя. И вдруг Талейран получает извещение, что Наполеон желает взять его с собою, хоть он уже и не министр, в Эрфурт, на свидание с Александром I. Так наступил новый решающий миг, новый поворот в судьбе Талейрана.

III

Александр Павлович, император всероссийский, ехал в Эрфурт к Наполеону в сентябре 1808 года в не весьма бодром состоянии духа. Перед самым отъездом он получил большое письмо от матери. Мария Федоровна выражала в этом письме не только общедворянские и общепридворные озлобленные, растерянные настроения касательно дружбы и союза царя с французским завоевателем, но и еще более острые, злободневные тревоги, вызванные этою поездкою царя в далекий город, занятый наполеоновскими войсками. У всех свежо было в памяти, как всего четыре месяца пред тем, в мае того же 1808 года, дружески приглашенная Наполеоном в Байонну испанская королевская семья была в полном составе предательски арестована и разослана — кто в Фонтенебло, кто (как упомянуто выше) в замок Валансэ. Где было ручательство, что Наполеон не проделает того же в Эрфурте с Александром, который будет там всецело в его руках? Экономические интересы русского дворянства и купечества жестоко подрывались навязанной Наполеоном России континентальной блокадой и прекращением сбыта русского хлеба и сырья в Англию. В Зимнем дворце получались анонимные письма, которые напоминали царю об участии его отца, Павла, именно как только он тоже вступил в дружбу с Бонапартом. Рубль быстро упал до одной пятой своей прежней стоимости... Конечно, Александр ответил своей матери твердо и обстоятельно, подчеркивая необходимость оставаться в мире с колоссальной Французской империей. Аустерлиц, Фридрихсбург и Тильзит, две проигранные войны и позорный мир научили осто-

рожности. Но особенно хорошего от свидания с «союзником» ни Александр I, ни его свита не имели оснований ожидать. Мощь Наполеона казалась в тот момент монолитной гранитной скалою. На континенте царило безмолвие, прерываемое только неясными слухами, шедшими из далекой Испании, — слухами о поголовном крестьянском восстании, о яростных партизанах и массовых расстрелах этих партизан французами. Но остальная Европа покорялась, страшилась и молчала.

28 сентября 1808 года оба императора съехались в Эрфурте. В свите Наполеона было столько королей и прочих монархов, французская императорская гвардия была так огромна и великолепна, смотры и парады, чуть не по два в день, были так блестящи, что впечатление несокрушимого могущества Наполеона должно было еще более усилиться у русских гостей. И вот Александра ждало тут одно изумительнейшее и абсолютно неожиданное для него происшествие.

Когда он сидел вечером, после одного из этих утомительных парадных эрфуртских дней, в гостиной княгини Турн-и-Таксис, туда пришел Талейран и повел странные речи.

Нужно сказать, что до тех пор личные отношения между Александром и Талейраном не отличались никакой особой теплотой. Александр прекрасно помнил, что именно Талейран нанес ему кровное оскорбление в 1804 году знаменитым своим ответом на протест Александра по поводу нарушения неприкосновенности баденской территории и ареста герцога Энгийенского. Талейран тогда ответил в таком духе, что, мол, если бы Александр узнал, что убийцы его покойного отца, Павла I, находятся недалеко от русской границы, хотя бы на чужой территории, и если бы Александр велел их схватить, то Франция не протестовала бы. Александр знал, что это написано было тогда по прямому повелению Наполеона, но все-таки ведь именно Талейран составлял эту ноту с прозрачным намеком на участие Александра в убийстве отца.

И вот теперь, в Эрфурте, этот самый оскорбитель, этот самый князь Талейран без особых предисловий и объяснений говорит русскому царю: «Государь, для чего вы сюда приехали? Вы должны спасти Европу, а вы в этом успеваете, только если будете сопротивляться Наполеону. Французский народ — цивилизован, французский же государь — нецивилизован; русский государь — цивилизован, а русский народ нецивилизован; следовательно, русский государь должен быть союзником французского народа». Это была увертюра, за которой последовало еще несколько секретных свиданий. Конечно, с чисто внешней стороны дело представляется так, что Талейран, начиная подобную беседу, ставил на карту свою голову: он совершал в самом точном смысле слова государь-

ственную измену, и решительно ничто не гарантировало его от возможности быть на другой же день арестованным. Стоило только Александру захотеть доказать Наполеону свои дружеские чувства откровенным рассказом о поступке Талейрана — и Талейран погиб бы безнадежно. Но ум Талейрана и его способность точно оценивать чужую натуру помогли ему и тут. Никогда он не оправдывал собой поверхностного ходячего афоризма о том, будто человек судит о других людях по себе. Если бы он судил других по себе, то никогда не решился бы так, без предварительных зондирований и гарантий, совершить этот опасный шаг в Эрфурте. Но он твердо знал, что Александр ни за что его не выдаст, что с этой стороны риска нет, и не потому, что Александр вообще так чист душою и безупречен, — напротив, Талейран был, например, вполне убежден, что Александр принял участие в убийстве своего отца и сделал это для того, чтобы получить корону, — а просто потому, что у каждого свои особенности и методы действия и что предать на гибель доверившегося ему человека не есть прием, свойственный Александру, даже если царь сразу и не сообразит, что ему, вообще, выгодны сношения с князем Талейраном. Точно так же, например, Наполеон, присваивая себе чуть не ежедневно и войною, и без всякой войны чужие страны и грабя чужие народы, в то же время с гадливостью относится (Талейран знал это по грустному опыту) к малейшей попытке своих ближних принять от просителя то «сладенькое» (*les douceurs*), из-за которого вышел тогда, как сказано, скандал с американцами: брать открыто, по мнению Наполеона, — хорошо, а украдкой — постыдно. Словом, все дело в том, чтобы понять, какой кому свойствен жанр и какие у кого брезгливости.

Такова была всегда философия князя Талейрана, и она его не обманула и на этот раз.

Для Александра поступок Талейрана был целым откровением. Он справедливо усмотрел тут незаметную еще пока другим, но зловещую трещину в гигантском и грозном здании великой империи. Человек, осыпанный милостями Наполеона, со своими земельными богатствами, дворцами, миллионами, титулом «высочества», царскими почестями, вдруг решился на тайную измену! Любопытно, что Александр в Эрфурте больше слушал Талейрана, чем говорил с ним сам. Он почти все время молчал. Царь, повидимому, сначала не вполне исключал и возможность провокационной игры, зачем-либо затеянной Наполеоном при посредстве князя Талейрана. Но эти подозрения царя скоро рассеялись.

Наполеон не подозревал ничего. Каждый день императоры были вместе, обменивались любезностями, демонстративно обнимались, производили вдвоем смотры и парады; каждое утро Наполеон интимно со-

вещался с командором Почетного легиона Талейраном о том, как лучше укрепить франко-русский союз, и почти каждый вечер в уютной квартире княгини Турн-и-Такис кавалер ордена Андрея Первозванного Талейран информировал Александра и вдохновлял его на борьбу с Наполеоном. Рейн, Альпы, Пиренеи — вот завоевания Франции, остальное — завоевания императора: Франция в них не заинтересована (*la France n'y tient pas*), повторял он Александру. «Остальное» — это были: Испания, Португалия, Италия, Бельгия, Голландия, почти вся Германия, половина Австрии, Польша, часть Балканского полуострова, земли от Лиссабона до Варшавы, от Гамбурга до Ново-Базарского санджака, от Данцига до Неаполя и до Бриндизи. Талейран, от имени Франции, от всего этого отказывался; все это он как бы отдавал в награду тем, кто избавит Францию от Наполеона.



*Рисунок 27: Граф Нессельроде
(литография неизвестного мастера).*

Александр видел шесте с тем, что Наполеон вполне доверяет своему бывшему министру, что вообще эта тогда многим непонятная отставка от министерства иностранных дел ничего фактически не изменила во влиянии Талейрана на французскую внешнюю политику. Именно через Талейрана, там же в Эрфурте, Наполеон довел впервые до сведения Александра, что собирается разводиться с Жозефиной и искать себе новую жену среди сестер Александра. Утром Талейран, по повелению Наполеона, составлял и окончательно редактировал проект конвенции между Россией и Францией, а вечером тот же Талейран выбивался из сил, доказывая колебавшемуся Александру, что не следует эту конвенцию подписывать, а нужно сначала выбросить такие-то и такие-то пункты. Царь так и поступил. Наполеон просто не понимал, чем объяснить это внезапное странное упрямство, обнаруженное Александром и все жаловался Талейрану, приписывая это непонятное явление неблагоприятному для французов обороту, который принимала народная война в Испании; и Талейран почтительно при этом разводил руками и соболезновал его величеству.

Талейран пошел по новой дороге бесповоротно. Читателей своих мемуаров он хочет уверить, что имел при этом в виду единственно благо Франции в будущем. Вероятно, он думал о себе, а не о Франции. Но объективно это было решительно все равно: он предвидел неминуемую катастрофу в самые блестящие годы мировой империи, за шесть лет до ее окончательного крушения. Вернувшись из Эрфурта в Париж, он завел тайные переговоры с Меттернихом и продолжал путем конспиративных писем сношения — с Александром. Корреспонденция эта была, конечно, строго законспирирована, и Талейран обозначался самыми разнообразными именами. Он передавал, что нужно, члену русского посольства Нессельроде, а тот уже писал Александру, называя Талейрана иногда «кузеном Анри», иногда «нашим книгопродавцом», а иногда просто «Анной Ивановной». Дело шло о жизни и смерти Талейрана, и необходима была в письмах самая крайняя осторожность. Сношения с Меттернихом были еще опаснее: готовилось новое столкновение с Австрией, которая решила воспользоваться грозно бушевавшей в Испании народной войной против Наполеона.

Позиция Талейрана не могла долго укрываться от министра полиции Фуше. Он не знал, конечно, всего об изменнических сношениях Талейрана с Россией и с Австрией, но он знал о том, как отрицательно отзывался Талейран о безумном завоевании Пиренейского полуострова, об опасностях наполеоновского безудержного произвола во внешней политике и так далее. И вот, к изумлению всего великосветского Парижа, разнес-

лась весть о тесном сближении, чуть ли не дружбе между обоими государственными людьми. Действительно, Фуше стал убеждаться в правильности предвидений Талейрана и решил, повидимому, не бороться с ним, а занять позицию внимательного и как бы дружественного нейтралитета. Но у Наполеона было несколько полиций: одна во главе с Фуше, следившая за всем населением империи, и другая еще более тайная, специально следившая за самим Фуше. И был еще Лавалетт, главный директор почт, который следил за этой другой полицией, следившей за Фуше.

Таким путем император в середине января 1809 года, в разгаре кровопролитнейшей войны с испанскими «мятежниками» (то-есть с испанскими крестьянами и ремесленниками, решившими героически защищать свою землю), в глубине Пиренейского полуострова получил разом несколько известий, сводившихся к двум следующим основным данным: во-первых, Австрия с лихорадочной поспешностью вооружается, сильно надеясь на трудное положение, в которое попал Наполеон в Испании; во-вторых, Талейран и Фуше о чем-то подозрительно сговариваются, причем Талейран недружелюбно отзываясь о политике императора. Сейчас же Наполеон передал командование армиями маршалам, а сам помчался в Париж, почти не делая остановок. Едва приехав, он приказал главным сановникам и некоторым министрам явиться во дворец.

Тут-то 28 января 1809 года и произошла знаменитая, сотни раз приводившаяся в исторической и мемуарной литературе сцена, о которой некоторые присутствовавшие не могли до гробовой доски вспоминать без содрогания. Император в буквальном смысле слова с кулаками набросился на Талейрана. «Вы вор, мерзавец, бесчестный человек! — бешено кричал он. — Вы не верите в бога, вы всю вашу жизнь нарушали все ваши обязанности, вы всех обманывали, всех предавали, для вас нет ничего святого, вы бы продали вашего родного отца! Я вас осыпал благодарениями, а между тем вы на все против меня способны! Вот уже десять месяцев, только потому, что вы ложно предполагаете, будто мои дела в Испании идут плохо, вы имеете бесстыдство говорить всякому, кто хочет слушать, что вы всегда порицали мое предприятие относительно этого королевства, тогда как это именно вы подали мне первую мысль о нем и упорно меня подталкивали!.. А этот человек, этот несчастный? Кто меня уведомил о его местопребывании? Кто подстрекал меня сурово расправиться с ним? Каковы же ваши проекты? Чего вы хотите? На что вы надеетесь? Посмейте мне это сказать! Ну, посмейте! Вы заслужили, чтобы я вас разбил, как стекло, и у меня есть власть сделать это, но я слишком вас презираю, чтобы взять на себя этот труд! Почему я

вас еще не повесил на решетке Карусельской площади? Но есть, есть еще для этого достаточно времени! Вы — грязь в шелковых чулках! Грязь! Грязь!..»

Его высочество светлейший князь и владетельный герцог Беневентский, великий камергер императорского двора, великий электор Французской империи, командор Почетного легиона, князь Талейран-Перигор стоял неподвижно, совершенно спокойно, почтительно и внимательно слушая все, что кричал ему разъяренный император. Присутствовавшие сановники дрожали, почти не смея глядеть на Талейрана, но он, единственный в комнате, казалось, сохранял полнейшую безмятежность и ясность духа. Было очевидно, что Наполеон уже что-то проведаль, но во всяком случае не знает ничего ни об эрфуртских похождениях своего бывшего министра, ни о том, что перед ним стоит «Анна Ивановна», шпионящая и теперь, после Эрфурта, в пользу и за счет императора Александра I. Значит, непосредственной опасности расстрела нет. А больше пока Талейрану ничего не требовалось.

Весь двор волновался, ломая себе голову над догадками, как будет вести себя Талейран после всех этих страшных и публичных оскорблений, которых никогда не выслушивал от императора даже ни один из его бесчисленных камер-лакеев, форейторов и кучеров.

Это любопытство было удовлетворено на другой же день, 29 января. При дворе был очередной большой раут, и съехавшиеся сановники и царедворцы с изумлением увидели в Тронном зале князя Талейрана в его красном бархатном с золотом костюме, во всех орденских звездах и кавалерских лентах. Он стоял на своем официально, по церемониалу назначенном месте, между самыми высшими чинами империи, в двух шагах от трона. Наполеон говорил с его соседями, а Талейрану не ответил на низкий поклон и не обратил на него никакого внимания. Но Талейран этого старался не заметить, величаво стоял и спокойно молчал весь вечер...

Потянулись годы, когда, отстраненный и от активного участия в делах и от общения с Наполеоном, Талейран, вельможа и миллионер, владелец дворца и замка, вел жизнь, полную блеска и наслаждений, но лишённую того захватывающего интереса, который ему давало его прежнее положение. Его тайные сношения с Александром продолжались, но становились все опаснее и казались осужденными на политическое бесплодие. Очень уж могуществен был попрежнему Наполеон, несмотря на все предсказания Талейрана. Снова разгромив Австрию в 1809 году, вынудив ее к новому позорному и убийственному миру, женившись сейчас же после этого на дочери австрийского императора, владычествуя пря-

мо или косвенно, через своих наместников и вассалов, над всей Европой, Наполеон принялся уже не войнами, а простыми декретами присоединять новые и новые страны к своей колоссальной державе. Может быть, поэтому Александр как будто несколько охладел — не к Талейрану, к которому никогда никаких симпатий не обнаруживал, а просто охладел временно в самом интересе своем к его сообщениям и советам... А тут еще Талейран написал царю (15 сентября 1810 года) письмо, в котором в самых достойных и красноречивых выражениях изящнейшей французской прозой, достойной пера Шатобриана, с теплым оттенком сердечности и дружеской доверчивости сообщал Александру, что он, Талейран, в последнее время несколько поиздержался и что очень бы это удачная мысль была, если бы Александр дал, например, своему верному тайному корреспонденту полтора миллиона золотом. Далее следовала уже наперед любезно наведенная Талейраном на всякий случай деловая справка, как технически удобнее всего прислать эти деньги, через какого банкира во Франкфурте, о чем генеральному русскому консулу в Париже Лабенскому написать и что именно прибавить, чтобы Лабенский не вздумал сомневаться, и так далее.

Но тут нашла коса на камень. Александра I особенно раздражало, когда кто-нибудь слишком уж спекулировал на его наивности. На этом, ведь, сорвалась впоследствии карьера баронессы Крюднер, чрез посредство которой святой дух повадился передавать царю повеления насчет каких-то кредитов по кассе опекунского совета. Талейрану все дело испортила его ссылка в начале письма на эрфуртские заслуги и деликатный намек, что именно оттого-то и пошатнулись его финансовые дела, что со времени Эрфурта Наполеон на него сердится. Александр ответил любезным по форме, но ехиднейшим по содержанию отказом: царь ему денег этих, к сожалению, не может и не хочет дать именно затем, чтобы не подвергнуть князя Талейрана подозрениям и как-нибудь не скомпрометировать его. Талейран с достоинством выждал некоторое время, а потом стал выпрашивать через Нессельроде русские торговые лицензии и другие более скромные подачки. Тут, повидимому, дело уладилось легче.

IV

Впрочем, уже наступали сроки исполнения его предсказаний: Наполеон пошел на Москву. Приближаются трудные времена, говорил Талейран уже тогда, когда в Париже еще ждали новых привычных бюллетеней о победах. Когда начался разгром французских войск и катастрофиче-

ское отступление великой армии из Москвы, Талейран осмелел в своих беседах (правда, с наиболее близкими людьми). «Вот момент, чтобы его низвергнуть», сказал он как-то в самом конце 1812 года маркизе Куаньи. Но Наполеон не мог быть низвергнут внутренней революцией. И дело было вовсе не в совершенстве полицейской машины, созданной Фуше и сделавшейся недосягаемым образцом всех политических полиций в грядущем, начиная с корпуса жандармов Николая I и кончая нынешней немецкой гестапо и румынской сигуранцей.

Сила Наполеона заключалась в том, что и в 1813 году для громадных и материально сильных классов он казался единственно возможным правителем. Крестьяне попрежнему боялись, в случае возвращения Бурбонов, отнятия приобретенных при революции земель и восстановления феодализма; среди буржуазии были колебания, особенно среди торговой буржуазии, среди судовладельцев, среди купечества мертвых при



Рисунок 28: Меттерних
(литография неизвестного мастера с рис. Бонье).

Наполеоне морских портов, но промышленники видели в Наполеоне из-бавителя от английской конкуренции и завоевателя чужих рынков, хотя, правда, отсутствие колониального сырья (особенно хлопка и красящих веществ) начало уже давно раздражать и их. Многие еще поддерживало власть Наполеона. Армия — солдаты еще больше, чем офицерский и генеральский состав, — любила его в своей массе, в особенности же старослуживые и унтер-офицерские кадры. При этих условиях у Наполеона еще хватило сил создавать в 1813–1814 годах армию за армией и, нанося союзникам страшные удары при Люцене, при Бауцене, при Вейссенфельсе, при Дрездене, медленно отступая из Германии, принуждать союзников дважды предлагать ему почетный мир. Талейран видел поэтому, что торопиться открыть свой карты еще опасно.

После поражения при Лейпциге, прибыв на короткое время в Париж, Наполеон на утреннем выходе своем среди царедворцев увидел и Талейрана. «Зачем вы тут?» вдруг гневно обратился он к нему и между прочими раздраженными фразами сказал и такую: «Берегитесь: ничего нельзя выиграть, борясь против моего могущества! Я объявляю вам, что если бы я опасно заболел, то вы умерли бы до меня!» Это была угроза расстрелом. И тогда же, в конце 1813 года, Наполеон внезапно предложил Талейрану снова стать министром иностранных дел. Тот отказался. Наполеон, презирая и ненавидя Талейрана, уже почти убежденный в его измене, все-таки думал, что Талейран слишком осыпан его милостями, которые побоится потерять в случае падения империи, и имеет слишком много причин опасаться возвращения Бурбонов.

Он не знал, что Талейран после Лейпцига окончательно утвердился на той мысли, что все-таки Наполеон будет низвергнут, и не революцией, а напором союзных европейских армий, «восстанием Европы», а не восстанием Франции против его владычества. Император не знал, что и Бурбоны всё забудут и простят охотно Талейрану все его бывшие и даже будущие предательства против них, если он теперь совершит еще новое предательство, — на этот раз уже в их пользу. Не зная еще всего этого, в январе 1814 года, когда борьба шла уже на французской территории и когда Наполеон нанес союзникам ряд новых и страшных ударов, а они опять, по совету Меттерниха, предложили Наполеону мирные переговоры, император в присутствии министров снова предложил Талейрану вести эти переговоры. Но Талейран снова отказался. Придя в бешенство, Наполеон, потрясая кулаками, стал наступать на Талейрана, который, попятившись, избежал удара. Эта безобразная сцена произошла 16 января 1814 года.

Наполеон уехал к армии. Талейран остался в Париже. Тут ему пришлось в феврале и начале марта пережить критические минуты. Началась серия новых побед Наполеона, когда их уже никто не ждал. «Я снова надел сапоги, в которых проделал свою первую итальянскую кампанию», говорил впоследствии Наполеон об этом времени. И военные специалисты до сих пор находят кампанию 1814 года одной из самых замечательных в долгой и кровавой карьере великого полководца. Чуть ли не каждые три дня в Париж приходили известия о новых победах Наполеона, и Талейрана охватывало иной раз такое лютое беспокойство, что он писал герцогине Дино, своей племяннице (и любовнице), и ее матери, герцогине Курляндской, записки, похожие на духовное завещание. Наполеон в случае полной и окончательной победы мог расследовать тайные сношения Талейрана с союзниками, мог и просто в гневную минуту расстрелять его. Спасти его могло только поражение Наполеона. И вот, вместе с Витролем (и через посредство Витроля) он торопит поход союзников на Париж, дает им знать о недостаточности сил для сопротивления, дает знать через верных лиц Бурбонам, что он хочет благоприятствовать именно им: все знали, что среди союзников есть сильное течение в пользу воцарения маленького сына Наполеона, «римского короля», и Бурбоны очень беспокоились.

Но вот идут битвы уже под самыми стенами Парижа. Императрица Мария-Луиза с маленьким сыном, наследником императорского престола, уезжает из столицы в глубь страны. Талейран — в труднейшем положении: ехать ему за императрицей, как велел Наполеон всем главнейшим сановникам, или оставаться в Париже? Если послушаться императора и остаться в Париже, то, в случае победы Наполеона или даже в случае его отречения и воцарения римского короля («Наполеона II»), ему, Талейрану, может очень дорого обойтись это изменническое поведение. А, с другой стороны, если союзники победят и войдут в Париж, то необычайно возрастут шансы Бурбонов, и тут-то Талейран может, если он останется в столице, взяв на себя деятельную роль, сделавшись естественным звеном между союзниками и Бурбонами, с одной стороны, и сенатом и прочими имперскими учреждениями, с другой стороны, устроить со своей обычной ловкостью такую обстановку, чтобы вышло, будто сама Франция, устами сената, низлагает династию Бонапартов и призывает династию Бурбонов. Он знал прекрасно, что союзникам очень нужно, чтобы такая видимость была соблюдена, да и особенно это нужно Бурбонам, чтобы с самого начала был сколько-нибудь приличным фиговым листком прикрыт слишком уж грубый и болезнетворный для французского национального самолюбия факт прибытия предполагае-

мого короля Людовика XVIII в «фургонах союзников». Об этих «фургонах», сыгравших потом такую роль в антибурбоновской агитации, именно тогда и начали уже говорить. Значит, Талейран мог надеяться, что ему простят решительно все его прошлое, даже убийство герцога Энгинского, если он теперь оформит и облегчит воцарение Бурбонов.



Рисунок 29: Портрет Талейрана в costume великого камергера (гравюра Шаюи с рис. Прудона).

Поэтому ему непременно нужно остаться в Париже... Как же быть? Один из биографов Талейрана формулирует раздиравшее в этот момент душу его противоречие такими остроумными и строжайше точными словами: «Как сделать так, чтобы разом и уехать из Парижа и не уезжать из Парижа?» Задача, на первый взгляд противоречащая элементарным законам физики и совершенно неразрешимая. Но не князя Талейрана могли смутить трудности. Он, напротив, в самые безвыходные минуты жизни и обнаруживал наибольшую находчивость. Он сначала отправился вместе с одной старинной своей приятельницей (у него они были припасены на все случаи жизни), с госпожой де Ремюза, к префекту полиции Паскье и тут (на всякий случай предоставив говорить госпоже де Ремюза и ограничившись со своей стороны лишь неопределенными

междометиями) он дал понять Паскье, что хорошо было бы, если б, например, при выезде из города его, князя Талейрана, «народ» не пустил бы дальше и принудил «силой» вернуться домой. Госпожа де Ремюза даже подала недогадливому префекту мысль, что еще лучше было бы, если бы он поручил своим агентам слегка взбунтовать «народ», чтобы устроить это насильственное возвращение Талейрана. В конце концов условились на том, что не «народ», а национальная гвардия задержит Талейрана и вернет назад. Важно было выиграть день, когда все решалось.

Тотчас после этого сговора Талейран, с багажом, с секретарями и слугами, в открытой карете, выехал из своего дворца во имя честного исполнения своего верноподданнического долга, согласно приказу его величества императора Наполеона, чтобы присоединиться к пребывавшей в Блуа императрице и наследнику императорского престола, маленькому римскому королю. Но вот, к прискорбию, Талейрану, на глазах всех, помешали исполнить его долг пред Наполеоном национальные гвардейцы, которые у барьеров Пасси задержали, по досадному недоразумению, его карету и вернули в город! Сейчас же он отправил рапорт о случившемся печальном инциденте великому канцлеру империи Комбасересу. Застраховав себя таким образом от гнева Наполеона, Талейран немедленно стал работать над подготовкой реставрации Бурбонов. Он явился к маршалу Мармону и убедил колебавшегося маршала не сражаться с подступившими к городу союзниками и сдать столицу, отведя в сторону свой корпус. Наполеон с остатками армии спешил к городу. Но 31 марта во дворце Фонтенебло он узнал о капитуляции Мармона и об измене Талейрана...

Александр I, еще до того, как союзные войска вошли и прочно заняли Париж, откомандировал Нессельроде к Талейрану, и они вместе сочинили ту знаменитую, подписанную Александром, декларацию, помеченную 31 марта 1814 года, в которой заявлялось, что союзники не будут более вести переговоров ни с Наполеоном, ни с его семьей, но что они признают и гарантируют то новое устройство, которое дает себе французская нация. Прибавлялось, что союзники приглашают сенат назначить временное правительство.

После торжественного въезда в Париж Александр и король прусский прежде всего посетили Талейрана в его дворце. Тут Талейран не переставал убеждать обоих монархов, что Франция хочет именно Бурбонов, именно Людовика XVIII. Но Александр колебался. Ему, судя по некоторым признакам, хотелось бы посадить на французский престол трехлетнего сына Наполеона, римского короля, с регентством его матери Ма-

рии-Луизы, а Людовик XVIII был в высшей степени и лично антипатичен русскому императору. «Как могу я узнать, что Франция желает династии Бурбонов?» недоверчиво спросил он у Талейрана. Но тот, не моргнув глазом, отвечал: «Через посредство решения, которое я берусь провести в сенате, государь, и последствия которого вы немедленно увидите». — «Вы в этом уверены?» — «Отвечаю за это, государь».

На другой день Талейран созвал сенат. Это учреждение не играло при Наполеоне ни малейшей роли и ограничивалось положением и службой послушных и исправных кодификаторов и исполнителей императорской воли. Они привыкли пресмыкаться перед силой, без рассуждений повиноваться приказу, и если из ста сорока одного на призыв Талейрана откликнулось всего шестьдесят три сенатора, то, конечно, главным образом потому, что еще не все освоились с мыслью о крушении империи, еще не отвыкли от страха пред Наполеоном. Талейран, опираясь на все союзные армии, стоявшие в столице и во Франции, без малейшей затраты красноречия достиг того, чтобы, во-первых, сенат постановил избрать «временное правительство» из пяти членов, с поручением им вести текущие дела и выработать проект новой конституции, и, во-вторых, чтобы во главе этого правительства был поставлен именно он, Талейран. Остальные были роялистские бесцветности, фигуры второго порядка.

Было это 1 апреля, и тогда же произошло любопытное свидание между Талейраном и посланным от Бурбонов графом Семаллэ. Талейран, в качестве центрального лица, в качестве главного деятеля происходящей реставрации, самым очаровательным образом встретил этого Семаллэ, личного друга Карла д'Артуа, то-есть брата намечаемого короля Людовика XVIII. Талейран тотчас же посоветовал передать Бурбонам, чтобы они приняли трехцветное знамя, — и сейчас же получил негодующий отказ: Бурбоны желают вернуться со своим белым знаменем, знаменем старого режима, И совет и отказ были одинаково многозначительны.

Талейран веет своим громадным умом и всей своей колоссальной опытностью понимал твердо, что для Франции Бурбоны — совсем чужие, неведомые люди, которых новые поколения вовсе не знают, что крестьянство уже наперед их не любит и боится и старое белое знамя будет в глазах крестьян как бы эмблемой восстановления феодальных пережитков, уничтоженных революцией, что, с другой стороны, для всей армии белое знамя — это ненавистное знамя, которое они до сих пор видели только в руках эмигрантов, поднявших оружие на отечество, в руках белых изменников; их-то эти солдаты и били еще в годы революции. А трехцветное знамя было знаменем победоносной революции и

победоносного Наполеона. Талейран понимал, что Бурбоны этой заменой трехцветного знамени белым начинают сами копать себе яму, что они, действительно, ничему не научились.

Но спорить было немыслимо. Вспомним, что не только в 1814 году, но и в 1871–1873 годах, после новых двух революций и Коммуны, Бурбоны, в лице графа Шамбора, отвергли трехцветное знамя — и этим самым отвергли снова им предлагавшийся французский престол.

Талейран никогда не уважал Бурбонов. Они не вняли его разумному совету насчет знамени, и он вскоре уже стал вообще замечать, что реставрация будет не весьма продолжительна. Но тут выбирать уже было поздно. Он стал доделывать начатое. В ближайшие дни сенат, по наущению Талейрана, разрешил армию и народ от присяги Наполеону, династия которого была провозглашена низложенной. Наполеон, независимо от этого, подписал в Фонтенебло отречение в пользу своего сына, а регентшей назначил Марию-Луизу, свою жену, дочь австрийского императора.

Весть об этом отречении привезли в Париж Коленкур и маршалы Ней и Макдональд. Талейран попросил их пожаловать на совещание, но они категорически отказались иметь с ним дело, а отправились к императору Александру. Александру передача престола сыну Наполеона очень понравилась; да и австрийский император мог поддержать эту комбинацию, при которой его дочь становилась регентшей Франции, а его внук, маленький римский король, — французским императором. Но Талейран воспротивился изо всех сил и настоял на своем. «Он продал Директорию, он продал Консульство, Империю, императора, он продал Реставрацию, он все продал и не перестанет продавать до последнего своего дня все, что сможет и даже чего не сможет продать», говорила о нем именно в те годы госпожа Сталь, которая горько каялась, что помогла его карьере в 1797 году, упросив Барраса дать ему портфель министра иностранных дел. Появившиеся вскоре ультрароялистские карикатуры и листовки начинали список измен Талейрана не с Директории, а со старого режима и католической церкви.

Вообще, когда приехал новый король и Бурбоны и их приверженцы стали прочно оседать на месте, устраиваться и осматриваться, положение Талейрана оказалось не из очень приятных. Правда, за его последнее, мартовско-апрельские, заслуги он мог выпросить себе у Людовика XVIII портфель министра иностранных дел, а своим близким — разные назначения и подачки. Правда, за время, когда он был (до приезда Бурбонов) главою правительства, он успел выискать в ведомственных архивах и документы о казни герцога Энгиенского, и об испанской войне, и

целый ряд других компрометирующих его бумаг и благополучно их уничтожил; успел также разными путями заполучить очень много казенной золотой монеты, пока она в эти критические дни уже ушла от Наполеона и еще не дошла до Бурбонов. Часть ее и заблудилась по дороге в обширных карманах князя Талейрана, хотя мне лично не кажется убедительной приводимая Баррасом цифра взяток и хищений Талейрана, совершенных им в 1814 году в связи с реставрацией Бурбонов (или за реставрацию Бурбонов): двадцать восемь миллионов франков. Баррас был врагом Талейрана, да и у него самого вообще глаза на взятки были завидующие. Во всяком случае, миллионы новые были за эти дни приобретены (хоть и не двадцать восемь) и благополучно присоединились к прежним основным миллионам, оставшимся от службы Талейрана при Наполеоне. Кроме денег, сохранил он и владетельное княжество Беневентское (в Италии), пожалованное ему Наполеоном, и все знаки отличия, полученные от Наполеона. Все это было ему приятно.

Но неприятно было, что очень уж скоро и новый король, и вся бурбонская семья, а за ними и придворные, и новые сановники стали обнаруживать признаки более нежели отрицательного отношения к моральным качествам Талейрана и, казалось, совсем не желали считать его главным автором реставрации старой династии и своим благодетелем. Герцог и герцогиня Ангулемские (то-есть племянник и племянница короля) обнаруживали даже нечто очень похожее на гадливость. Сам король был скептичен и насмешлив, умел (и хотел) говорить неприятности. Довольно резок бывал и брат короля, Карл д'Артуа, впоследствии Карл X.

Наконец, среди придворной аристократии фонды князя Талейрана тоже стояли не очень высоко. Эта аристократия состояла из старой, в значительной мере эмигрантской, части дворянства, вернувшейся с Бурбонами, и новой, наполеоновской, за которой остались все ее титулы, данные императором.

И те и другие тайно ненавидели и презирали Талейрана. Старые аристократы не прощали ему его религиозного и политического отступничества в начале революции, отнятия церковных имуществ, антипапской позиции в вопросе о присяге духовенства, всего его политического поведения в 1789–1792 годах. Возмущались его участием в деле герцога Энгийенского, его деятельной дипломатической помощью полиции в гонениях на аристократов-эмигрантов, ютившихся в чужих краях. С другой же стороны, наполеоновские герцоги, графы и маршалы гордились тем, что они, за немногими исключениями, присягну ли Бурбонам *лишь после отречения императора и сделали это только по прямому разрешению*

отрекшегося Наполеона, а на Талейрана, Фуше, Мармона они смотрели, как на позорных изменников, предавших Наполеона, вонзивших кинжал ему в спину, как раз когда он боролся изо всех сил против всей Европы, отстаивая целостность французской территории. Наконец, те и другие не только знали о свободном обращении Талейрана с казенными деньгами и о бесчисленных и непрерывных взятках, но и преувеличивали полученные им суммы. Они повторяли словцо, неизвестно кем пущенное и в начале 1815 года даже попавшее в печать (в газету «Le Nain jaune»): «Князь Талейран оттого так богат, что он всегда продавал всех тех, кто его покупал». Эта двуединая торговая операция, лежавшая в основе всех финансовых оборотов Талейрана в течение всего его земного странствия, очень усердно отмечалась не только в салонных разговорах за спиной заинтересованного лица, но и в прессе.

Тут впервые после революции, точнее после 1792 года, Талейран почувствовал все неудобства хотя бы такой ограниченной свободы печати, какая стала возможна в 1814 году при установлении конституционной хартии. Еще при Директории иной раз приходилось терпеть дерзости журналистов, но зато при Наполеоне, с 1799 года по 1814, не только о таких особах, как Талейран, но даже о поварах и лакеях таких сановников никто не осмелился бы ничего неодобрительного напечатать. Но в конце концов все эти колкости и неприятности князь Талейран мог до поры до времени игнорировать. Он был нужен, он был незаменим, и Бурбоны хотели его использовать полностью. Он снова шел в гору. Его назначили первым министром, с оставлением в его руках министерства иностранных дел. Наконец, осенью его послали в качестве представителя Франции на Венский конгресс. В биографии этого человека открылась новая страница, и притом такая, которая имеет огромный исторический интерес, еще больший, чем вся его предшествовавшая деятельность.

Глава третья

ТАЛЕЙРАН ПРИ РЕСТАВРАЦИИ I

Талейрану приходилось выступать в Вене в 1814–1815 годах против таких противников, которые, за вычетом Меттерниха и Александра, не возвышались над уровнем дипломатической обыденщины и могли в лучшем случае считаться «средними служебными полезностями». Кэстльри, например, и других английских дипломатов, как и прусских представителей, он мог нисколько не опасаться. Эти люди были свидетелями и даже участниками величайших событий и сплошь и рядом не понимали их истинного характера и внутреннего значения. Они все еще плелись в традиционных колеях доброго, старого, веселого, изящного XVIII века.

В свое время Вильяма Питта Младшего, который, однако, несколькими головами был выше своих преемников, упрекали его критики в том, что он в борьбе с Францией был загипнотизирован местом, географическим пунктом, с которым смолodu боролся, и проглядел смену людей на этом месте и не заметил, что на том месте, в том самом Париже, где так долго сменяли друг друга и говорили от имени Франции элегантные и жеманные пудренные старорежимные щеголи версальского двора, стоит перед ним уже не пудренный щеголь, а Чингисхан, и что речь идет уже не о прирезках и отрезках земель в Индии и не о правах на ловлю трески около Ньюфаундленда, но о существовании Английского королевства.

Теперь, в 1814 году, этот Чингисхан был только что низвергнут после отчаяннейших усилий всей Европы, но государственные люди, съехавшие осенью 1814 года в Вене, чтобы установить новое политическое перераспределение земель и народов, все-таки не очень понимали исторический смысл истекшего кровавого двадцатипятилетия. Средний дипломат, средний политик Венского конгресса, подобно большинству дворянского класса тогдашней Европы, склонен был думать, что революция и Наполеон были внезапно налетевшими шквалами, которые, к счастью, окончились, и теперь следует, убрав обломки, починив повреждения, зажечь попрежнему.

Лишь сравнительно немногие понимали, что полная реставрация главного, то-есть социально-экономического старого режима, не удастся ни во Франции, где его разрушила революция, ни в тех странах, где ему нанес страшные удары Наполеон, и что поэтому не может удастся и полная реставрация политическая или бытовая. Из реакционеров это понимали и с горечью отмечали лишь единичные мыслители. Напрасно Людовик XVIII говорит, что он воссел на прародительский престол: он

воссел и сидит на троне Бонапарта, а прародительский трон уже невозможен, со скорбной иронией говорил Жозеф де Местр, указывая на то, что во Франции весь социальный, административный, бытовой строй остался в том виде, как существовал при Наполеоне, — только наверху вместо императора сидит король и имеется конституция. В области международных отношений иллюзий было еще больше, с просыпающимися в буржуазии «национальными» стремлениями считаться никто не желал, а к совершенно бесцеремонному обращению с народами и целыми державами, к купле-продаже-обмену в этой области, ко всем этим привычкам старорежимной дипломатии прибавились еще воспоминания о только что пережитой наполеоновской эпопее. Если народы Европы терпели и молчали при том обхождении с ними, какое практиковал Наполеон, то стоит ли и впредь считаться с их стремлениями и упованиями?

Талейран проявил здесь в полном блеске свои огромные дипломатические способности. Он во всю остальную жизнь всегда указывал на Венский конгресс, как на то место, где он упорно отстаивал — и отстоял — интересы своего отечества от целого полчища врагов, и притом в самых трудных, казалось, безнадежных, обстоятельствах, в каких только может очутиться дипломат: не имея за собою в тот момент никакой реальной силы. Франция была разбита, истощена долгими и кровавыми войнами, подверглась только что нашествию. Против нее на конгрессе, как и прежде на поле битвы, стояла коалиция всех первоклассных держав: Россия, Пруссия, Австрия, Англия. Если бы этим державам удалось



*Рисунок 30: Вход союзников в Париж в 1814 г.
(гравюра Леваше с рис. Пеше).*

сохранить на конгрессе хоть какое-нибудь единство действий, Талейрану пришлось бы всецело подчиниться.

Но в том-то и дело, что с первого дня приезда своего в сентябре 1814 года в Вену Талейран принялся ткать сложную и тончайшую сеть интриг, направленных к тому, чтобы вооружить одних противников Франции против других ее противников. Первые шаги были трудны. И репутация князя еще осложняла его положение. Не в общих оценках личности князя Талейран а дело было, не в том, что его на самом конгрессе называли (конечно, не в глаза) наибольшей канальей всего столетия, «la plus grande canaille du siècle». И не то было существенно, что богомольная ханжеская католическая Вена со всеми этими съехавшимися монархами и правителями, для которых мистицизм в тот момент казался наилучшим противоядием против революции, презирала расстриженного и в свое время отлученного от церкви епископа отенского, который предал и продал католицизм революционерам. Даже и не то было самое важное, что его, несмотря на все его ухищрения, упорно считали убийцей герцога Энгиенского. Раздражало в нем другое: ведь все эти государи и министры именно с Талейраном имели дело в течение всей первой половины наполеоновского царствования.

Именно он всегда после наполеоновских побед оформлял территориальные и денежные ограбления побежденных, согласно приказам и директивам Наполеона. Никогда, ни единого раза он не сделал даже и попытки хоть немного удержать Наполеона и от начальных конфликтов, и от войн, и от конечных завоеваний. Самые высокомерные, вызывающие ноты, провоцировавшие войну, писал именно он; самые оскорбительные и ядовитые бумаги при любых дипломатических столкновениях сочинял именно он, — вроде, например, вышеупомянутой отповеди в 1804 году императору Александру с прямым указанием на убийство Павла и намеком на участие Александра в этом деле. Талейран был послушным и искусным пером Наполеона, и это перо ранило очень многих из тех, которые теперь съехались в Вене. Впоследствии, между прочим и в своих мемуарах, Талейран очень прочувствованно и с укоризненным покачиванием головы поминал всегда о том, что Наполеон не щадил самолюбия побежденных, топтал их человеческое достоинство, и так далее. Он совершенно прав, но забывает прибавить, что именно он же сам и был исправнейшим и неукоснительным исполнителем императорской воли. Теперь представители так долго унижаемых и беспощадно эксплуатируемых держав и дипломаты, помнившие жестокие уколы, молчаливо ими переносимые столько лет, были лицом к лицу с этим высокомер-

ным и лукавым вельможей, с этим «письмоводителем тирана», иго которого, наконец, удалось свергнуть.

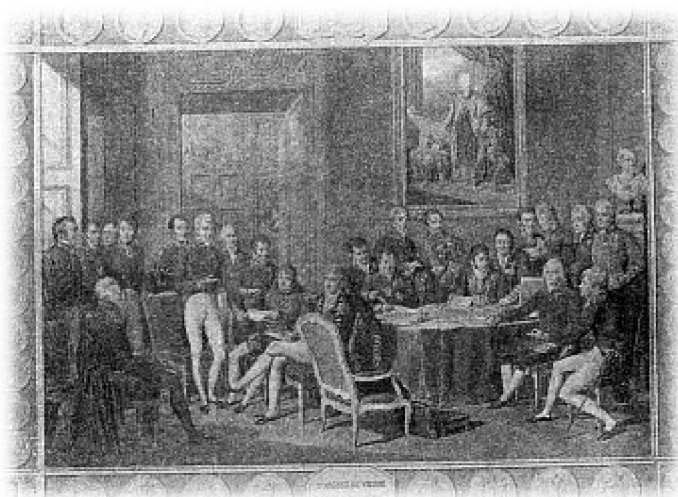


Рисунок 31: Венский конгресс. (Гравюра Годфруа, с рис. Изабей)

Но, к общему удивлению, этот «письмоводитель» держал себя на конгрессе так, как если бы он был министром не побежденной, а победившей страны, и недаром раздраженный Александр I сказал о нем тогда же в Вене: «Талейран и тут разыгрывает министра Людовика XIV». Талейран поистине артистически вел свою труднейшую, почти безнадежную вначале игру. Главным его делом было разрушить коалицию великих держав, попрежнему соединенных против Франции. И к началу января 1815 года (а приехал он на конгресс в середине сентября 1814 года, — значит, за три с половиной месяца) ему блистательно удалось его дело. Ему удалось даже войти в тайный договор с Англией и Австрией для совместного противодействия трех великих держав (Франции, Англии и Австрии) двум остальным — Пруссии и России. Договор был оформлен и подписан 3 января 1815 года.

Этот колоссальный дипломатический успех повлек за собой и другой успех, не меньший. Пруссия претендовала на получение всех владений саксонского короля, которого соединенная против Наполеона Европа собиралась наказать за его союз с Наполеоном. Такое усиление Пруссии Талейран ни за что не хотел допустить и не допустил. Пруссия получила лишь небольшой прирезок. Спасти Польшу от поглощения Россией он не

мог, несмотря на все усилия. За Францией не только осталось все, что она удержала по Парижскому миру, но Талейран не допустил даже и постановки вопроса о пунктах, которые в этой области некоторым державам очень хотелось бы пересмотреть. Талейран выдвинул «принцип легитимизма» как такой, на основе которого отныне должно быть построено все международное право. Этот «принцип легитимизма» должен был прочно обеспечить Францию в тех границах, которые она имела до начала революционных и наполеоновских войн, и, конечно, этот принцип был в данной обстановке очень для французов выгоден, так как силы для победоносного сопротивления в случае немедленных новых войн они в тот момент не имели.



Рисунок 32: Наполеон (гравюра Лефевра с рис. Стейбе).

Отстояв — и с блистательным успехом — интересы буржуазной новой Франции против феодальной Европы, Талейран со свойственным, ему умом и талантом пустил в ход для этого дела как раз архифеодальную, архимонархическую аргументацию «принцип легитимизма». Звериные клыки прусских претендентов, уже готовые растерзать ненавистную «страну революции», не получили своей добычи. Расчленив побежденную и ослабевшую Францию не удалось. Тогда же, на Венском

конгрессе, Талейран окончательно убедился, что если обмануть Кэстльри и даже Меттерниха, не говоря уже о Фридрихе-Вильгельме III прусском и императоре австрийском Франце I, — дело хоть нелегкое, но возможное, то обмануть Александра Павловича, которого сам Наполеон называл хитрым византийцем, несравненно затруднительнее. Талейран наперед знал, что Александр воспользуется потом этим же «принципом легитимизма», когда попытается в иных формах заменить павшую наполеоновскую гегемонию над Европой русской гегемонией, но старый лукавец в то же время отдавал себе полный отчет и в том, что Франция от этих царских поползновений потеряет, по сути дела, уже вследствие географических и иных условий, гораздо меньше, чем Центральная Европа, чем та же Пруссия, Австрия и другие германские страны.

И тут же, на Венском конгрессе, Талейран сделал, как мы только что видели, смелую и блестяще ему удавшуюся попытку: отколоть от этой, всегда наиболее опасной для Франции, Центральной Европы Австрию. Ведь против кого был в первую голову направлен тайный январский англо-франко-австрийский договор 1815 года, сочиненный и осуществленный в Вене Талейраном? Конечно, против Пруссии. Александр I хотел получить Польшу — и получил Польшу, и никакие договоры, ни тайные, ни явные, как бы ни были они заострены против него, не заставили его очистить Варшаву. А вот Пруссия действительно потеряла и именно потеряла ту компенсацию, которую уже совсем готова была получить с полного согласия России: Саксонию. «Проблема Центральной Европы», то-есть проблема борьбы против усиления Пруссии, — вековая проблема французской дипломатии, — была талантливейшим образом разрешена Талейраном на несколько поколений вперед. Нужны были сначала губительные ошибки Наполеона III в 1866–1870 годах, а потом сознательное предательство французских национальных интересов во имя шкурных соображений французской капиталистической верхушки уже в наши времена, в годы гитлеровщины — 1937, 1938 и 1939 годы, чтобы таким образом в два приема подорвать дело, сделанное Талейраном в 1814–1815 годах в самых невероятных трудных условиях, в каких когда-либо находилась Франция.

Союз и дружба с Англией и, по возможности, с Австрией для общего отпора Пруссии, борьба против России, если она будет поддерживать Пруссию, — вот базис, на котором Талейран желал отныне основать внешнюю политику и безопасность Франции. Ему не суждено было долго управлять делами в период Реставрации, но едва лишь в 1830 году Июльская революция дала ему важнейший в тот момент пост французского посла в Лондоне, он, как увидим дальше, сделал все зависящее,

чтобы провести свою программу в жизнь. Ближайшие поколения молодой французской буржуазии всегда расценивали очень положительно работу, проделанную Талейраном на Венском конгрессе.

И недаром бальзаковский герой Вотрэн в романе «Le père Goriot» с таким восторгом говорит о Талейране (не называя его): «...князь, — в которого каждый бросает камень и который достаточно презирает человечество, чтобы выплюнуть ему в физиономию столько присяг, сколько оно потребует их от него, — воспрепятствовал разделу Франции на Венском конгрессе. Его должны были бы украшать венками, а в него кидают грязью».² Эта горячо проповедуемая мысль, что клятвопреступник может «плевать» в лицо «человечеству», если конечный результат его предательств приносит реальную пользу, приносит политический капитал; эта циническая убежденность в первенстве «интеллекта над



*Рисунок 33: Людовик XVIII
(гравюра Одуэна с рис. Гро, 1815 г.).*

² Honoré de-Balzac, Le père Goriot, p. 98 (Paris, Ed. Bibliothèque Larousse). Русское издание: Оноре де-Бальзак, Собр. соч., т. III. Гослитиздат, 1938 г.

моралью» в политике необычайно характерна для эпохи перелома, передавшего власть в руки буржуазии. И более всего характерно именно торжественное, всенародное провозглашение этого принципа и нескрываемое восхищение человеком, в котором самым законченным образом олицетворялся указанный идеал, то-есть князем Талейраном-Перигором.

Но своеобразная откровенность этого хищного героя Бальзака была далеко не всем свойственна. И даже те из буржуазных политических деятелей, кто изо всех сил старался подражать Талейрану, как недостижимому образцу, не переставали поносить его за глаза, наблюдая, как этот маэстро коварства и циничнейший комедиант гениально разыгрывает на мировой сцене совсем новую для него роль. Конечно, более всего злобились на его безмятежную наглость его прямые противники, дипломаты феодально-абсолютистских держав, одурачить которых он поставил себе первоочередной задачей. Эти дипломаты видели, что он в Вене ловко выхватил у них собственное их оружие, раньше чем они опомнились, и теперь их же этим оружием побивает, требуя во имя «принципа легитимизма» и во имя уважения к вернувшейся во Францию «законной» династии, чтобы не только французская территория осталась неприкосновенной, но чтобы и Центральная Европа возвратилась полностью в свое дореволюционное состояние и чтобы поэтому «легитимный» саксонский король остался при всех старых своих владениях, на которые претендовала Пруссия.

Противников Талейрана больше всего возмущало, что он, в свое время продавший так быстро легитимную монархию, служивший революции, служивший Наполеону, расстрелявший герцога Энгийенского только за его «легитимное» происхождение, уничтоживший и растоптавший при Наполеоне ©семи своими дипломатическими оформлениями и выступлениями всякое подобие международного права, всякое понятие о «легитимных» или иных правах, — теперь с безмятежнейшим видом, с самым ясным лбом заявлял (например, русскому делегату на Венском конгрессе, Карлу Васильевичу Нессельроде): «Вы мне говорите о сделке, — я не могу заключать сделок. Я счастлив, что не могу быть так свободен в своих действиях, как вы. Вами руководят ваши интересы, ваша воля: что же касается меня, то я обязан следовать принципам, а ведь принципы не входят в сделки» (*les principes ne transigent pas*). Его оппоненты прямо ушам своим не верили, слыша, что столь суровые речи ведет и нелюбезную мораль им читает тот самый князь Талейран, который — как о нем около того же времени писала уже упомянутая газета «Le Nain jaune» — всю жизнь продавал всех тех, кто его покупал. Ни Нес-

сельроде, ни прусский делегат Гумбольдт, ни Александр не знали еще, что даже в те самые дни Венского конгресса, когда Талейран давал им суровые уроки нравственного поведения, верности принципам и религиозно-неуклонного служения легитимизму и законности, — он получил от саксонского короля взятку в пять миллионов франков золотом, от баденского герцога — один миллион; они не знали также, что впоследствии все они прочтут в мемуарах Шатобриана, что за пылкое отстаивание во имя легитимизма прав неаполитанских Бурбонов на престол Обеих Сицилий Талейран тогда же, в Вене, получил от претендента Фердинанда IV шесть миллионов (по другим показаниям, три миллиона семьсот тысяч) и для удобства переправы денег даже был так любезен и предупредителен, что отправил к Фердинанду своего личного секретаря Перре.

Но и тут он действовал в деле взятковзимания точь-в-точь так, как при Наполеоне. Он не делал за взятки тех дел, какие шли бы вразрез с интересами Франции или, шире говоря, с основными дипломатическими целями, к достижению которых он стремился. Но он попутно получал деньги с тех, кто был лично заинтересован в том, чтобы эти цели были поскорее и как можно полнее Талейраном достигнуты. Так, Франция, например, была прямо заинтересована в том, чтобы Пруссия не захватила владений саксонского короля, и Талейран отстоял Саксонию. Но так как саксонский король был заинтересован в этом еще гораздо более, чем Франция, то этот король для возбуждения наибольшей активности в Талейране и дал ему, с своей стороны, пять миллионов. А Талейран их взял. И, конечно, взял с таким всегда ему свойственным сдержанным и грациозным величием, с каким некогда, в 1807 году, принял взятку от этого же самого саксонского короля за то, чтобы убедить Наполеона не брать из Дрезденской галереи Сикстинскую мадонну и другие, как на беду, приглянувшиеся императору картины.

Возвращение Наполеона с острова Эльбы и восстановление империи застали Талейрана совершенно врасплох. Недавно (в мае 1933 года) в Париже вышла фантазерская книга Фердинанда Бака «Le secret de Talleyrand». Этот раскрытый одним только Баком «секрет» заключается в том, что Талейран... сам устроил бегство Наполеона с Эльбы. Отмечаю эту дилетантскую фантазерскую книгу тут только в виде курьеза для доказательства, что и далекое потомство продолжает считать Талейрана способным на самый изумительный по коварству план и достаточно ловким и сильным, чтобы любой такой проект осуществить. Нечего и говорить, что даже и тени научной аргументации в этой книге нет.



Рисунок 34: Веллингтон (литография Шарля Бенье).

Восстановив империю в марте 1815 года, Наполеон дал знать Талейрану, что возьмет его снова на службу. Но Талейран остался в Вене; он не поверил ни в милостивое расположение императора (приказавшего тотчас по своем вдовом воцарении секвестровать все имущество князя), ни в прочность нового наполеоновского царствования. Венский конгресс закрылся. Грянуло Ватерлоо, — и Бурбоны, а с ними и Талейран, снова вернулись во Францию. Обстоятельства сложились так, что Людовику XVIII еще не представлялось возможным избавиться от Талейрана, которого он не любил и боялся. Мало того: Фуше, герцог Отрантский, о котором говорили, что, не будь на свете Талейрана, то он был бы самым лживым и порочным человеком из всего человечества, этот самый Фуше целым рядом ловких маневров достиг того, что и его, хоть на первое время, а все же пришлось пригласить в новый кабинет, хотя Фуше числился среди тех членов Конвента, которые в 1793 году вотировали казнь Людовика XVI.

Эти два человека, Талейран и Фуше, оба бывшие духовные лица, оба принявшие революцию, чтобы сделать себе карьеру, оба министры Директории, оба министры Наполеона, оба получившие от Наполеона гер-

цогский титул, оба заработавшие при Наполеоне миллионное состояние, оба предавшие Наполеона, — и теперь тоже вместе вошли в кабинет «христианнейшего» и «легитимного» монарха, родного брата казненного Людовика. Фуше и Талейран уже хорошо узнали друг друга и именно поэтому стремились прежде всего работать друг с другом. При очень большом сходстве обоих в смысле глубокого презрения к чему бы то ни было, кроме личных интересов, полного отсутствия принципиальности и каких-либо сдерживающих начал при осуществлении своих планов, — они во многом отличались один от другого. Фуше был очень не робкого десятка, и перед 9 термидора он смело поставил свою голову на карту, организовав в Конвенте нападение на Робеспьера и низвержение его. Для Талейрана подобное поведение было бы совершенно немыслимо. Фуше в эпоху террора действовал в Лионе так, как никогда бы не посмел действовать Талейран, который именно потому и эмигрировал, что считал, что в лагере «нейтральных» оставаться очень опасно в настоящем, а быть активным борцом против контрреволюции станет опасно в будущем. Голова у Фуше была хорошая, после Талейрана — самая лучшая, какой только располагал Наполеон. Император это знал, осыпал их обоими милостями, но потом положил на них опалу. Он их поэтому и поминал часто вместе. Например, уже после отречения от престола, он выражал сожаление, что не успел повесить Талейрана и Фуше. «Я оставляю это дело Бурбонам», — так, по приданию, добавлял император.

Однако Бурбоны волей-неволей должны были сейчас же после Ватерлоо и после своего вторичного возвращения летом 1815 года на престол не только воздержаться от повешения обоих герцогов, — как Беневентского, так и Отрантского, — но и призвать их к управлению Францией. Поэт и идеолог дворянско-клерикальной реакции в тот момент, Шатобриан не мог скрыть своей ярости при виде этих двух деятелей революции и империи, из которых на одном была кровь Людовика XVI и множества других, казненных в Лионе, а на другом — кровь герцога Энгиенского. Шатобриан был при дворе, когда хромой Талейран, под руку с Фуше, прошел в кабинет к королю: «Вдруг дверь открывается; молча входит Порок, опирающийся на Преступление, — господин Талейран, поддерживаемый господином Фуше; адское видение медленно проходит предо мною, проникает в кабинет короля и исчезает там».

II

В этом министерстве, в котором председателем совета министров был Талейран, а министром полиции Фуше, наполеоновский генерал

Гувьон Сен-Сир стал военным министром; были и еще подобные назначения. Талейран ясно видел, что Бурбоны могут держаться, только если, махнув рукой на все свои обиды, примут революцию и империю как неизбежный и огромный исторический факт и откажутся от мечтаний о старом режиме. Но не менее ясно он вскоре увидел и другое: именно, что ни королевский брат и наследник Карл, ни дети этого Карла, ни целая туча вернувшихся во Францию эмигрантов ни за что с такой политикой не согласятся, что они «ничего не забыли и ничему не научились» (знаменитое словцо Талейрана о Бурбонах, неправильно приписываемое часто Александру I). Он увидел, что при дворе берет верх партия разъяренных и непримиримых дворянских и клерикальных реакционеров, находящихся под властью абсурдной, неисполнимой мечты об уничтожении всего, сделанного при революции и удержанного Наполеоном, то есть, другими словами, они желают обращения страны, вступившей на путь торгово-промышленного развития, в страну феодально-дворянской монархии. Талейран понимал, что эта мечта совершенно неисполнима, что эти ультрароялисты могут бесноваться, как им угодно, но что всерьез начать ломать новую Францию, ломать учреждения, порядки, законы гражданские и уголовные, оставшиеся от революции и от Наполеона, даже только поставить открыто этот вопрос — возможно, лишь окончательно сойдя с ума. Однако он стал вскоре усматривать, что ультрароялисты и в самом деле как будто окончательно сходят с ума, — по крайней мере, утрачивают даже ту небольшую осторожность, какую проявляли еще в 1814 году.

Дело в том, что внезапное возвращение Наполеона в марте 1815 года, его стодневное царствование и его новое низвержение, — опять-таки произведенное не Францией, а исключительно новым нашествием союзных европейских армий, — все эти потрясающие события вывели дворянско-клерикальную реакцию из последнего равновесия. Они чувствовали себя жесточайше оскорбленными. Как мог безоружный человек среди полного спокойствия страны высадиться на южном берегу Франции и в три недели, непрерывно двигаясь к Парижу, не произведя ни единого выстрела, не пролив капли крови, отвоевать Францию у ее «законного» короля, прогнать этого короля за границу, снова сесть на престол и снова собрать громадную армию для войны со всей Европой? Кто был этот человек? Деспот, не снимавший с себя оружия в течение всего своего царствования, опустошивший страну рекрутскими наборами, узурпатор, ни с кем и ни с чем на свете не считавшийся, а главное — монарх, новое воцарение которого неминуемо должно было вызвать сейчас же новую, нескончаемую войну с Европой. И к ногам этого чело-

века без разговоров, без попыток сопротивления, даже без попыток убеждений с его стороны, в марте 1815 года пала немедленно вся Франция, все крестьянство, вся армия, вся буржуазия.

Ни одна рука не поднялась на защиту «законного» короля, на защиту вернувшейся в 1814 году династии Бурбонов. Объяснить этот феномен тем страхом за приобретенную при революции землю, который питало крестьянство, теми опасениями перед призраком воскрешения дворянского строя, которые испытывало не только крестьянство, но и буржуазия, вообще объяснить это изумительное происшествие, эти «Сто дней» какими-либо общими и глубокими социальными причинами ультрароялисты были не в состоянии, да и просто не хотели. Они приписывали все случившееся именно излишней слабости, уступчивости, неуместному либерализму со стороны короля, в первый год его правления, с апреля 1814 до марта 1815 года: если бы тогда, уверяли они, успеть беспощадно истребить крамолу, — такая всеобщая и внезапная «измена» была бы в марте 1815 года невозможна, и Наполеон был бы схвачен тотчас после его высадки на мысе Жуан. Теперь к этому позору изгнания Бурбонов в марте прибавился еще позор их возвращения в июне, июле и августе, после Ватерлоо, и уж на этот раз действительно «в фургонах» армии Веллингтона и Блюхера. Бешенство ультрароялистов не имело пределов. Если король еще несколько сопротивлялся им и если они еще позволили ему сопротивляться, то это было именно только в первый момент: все-таки нужно было осмотреться, можно было ждать еще сурпризов.

Только поэтому и стало возможно правительство с Талейраном и Фуше во главе. Но по мере того, как во Францию вливались все новые и новые армии англичан, пруссаков, потом австрийцев, позднее — русских, по мере того, как неприятельские армии, на этот раз уже на долгие годы, располагались для оккупации целых департаментов и для полнейшего обеспечения Людовика XVIII и его династии от новых покушений со стороны Наполеона, а также и от каких бы то ни было революционных попыток, — крайняя реакция решительно поднимала голову и вопила о беспощадной мести, о казни изменников, о подавлении и уничтожении всего, что враждебно старой династии.

Талейран понимал, к чему поведут эти безумства. И он даже делал некоторые попытки удержать исступленных. Он долго противился составлению проскрипционного списка тех, кто способствовал возвращению и новому воцарению Наполеона. Эти преследования были бессмыслицей, потому что вся Франция либо активно способствовала, либо не сопротивлялась императору и этим тоже способствовала ему. Но тут вы-

ступил Футе. Гильотинировал или потопив в Роне сотни и сотни лионцев в 1793 году за приверженность к дому Бурбонов, вотировал тогда же смерть Людовика XVI, годами расстреливая при Наполеоне в качестве министра полиции людей, обвиненных опять-таки в приверженности к дому Бурбонов, — Фуше, снова министр полиции, теперь, в 1815 году, горячо настаивал на новых расстрелах, но на этот раз уже за недостаточную приверженность к дому Бурбонов. Фуше поспешил составить список наиболее, по его мнению, виновных сановников, генералов и частных лиц, прежде всего помогавших вторичному воцарению Наполеона.

Талейран решительно протестовал. Узкий полицейский ум Фуше и яростная мстительность королевского двора восторжествовали над более дальновидной политикой Талейрана, который понимал, до чего губит себя династия, пачкаясь в крови таких людей, как, например, знаменитый маршал Ней, легендарный храбрец, любимец всей армии, герой



Рисунок 35: Талейран. (С рис. Филиппото)

Бородинской битвы. Талейрану удалось спасти только сорок три человека, остальные пятьдесят семь остались в списке Фуше. Расстрел маршала Нея состоялся и, конечно, сделался благодарнейшей темой для антибурбонской агитации в армии и во всей стране.

Это было лишь началом. По Франции, особенно на юге, прокатилась волна «белого террора», как тогда же было (впервые в истории) названо это движение. Страшные избиения революционеров и бонапартистов, а заодно уже и протестантов (гугенотов), разжигаемые католическим духовенством, раздражали Талейрана, и он пробовал вступить с ними в борьбу, но ему не суждено было долго продержаться у власти.

Дело началось с Фуше. Как министр полиции ни усердствовал, но простить ему казнь Людовика XVI и все его прошлое ультрароялисты не желали. Фуше прибегнул было к приему, который ему часто помогал при Наполеоне: он представил королю и своему начальнику, то-есть первому министру Талейрану, доклад, в котором старался припугнуть их какими-то заговорами, якобы существовавшими в стране. Но Талейран явно не поверил и даже не скрыл этого от своего коллеги. Фуше только казалось, будто он видит Талейрана насквозь, а вот Талейран в самом деле видел хитроумного министра полиции насквозь. Талейран считал, во-первых, нелепой и опасной политику репрессий и преследований, которую желал проводить Фуше с единственной целью: угодить ультрароялистам и удержать за собою министерский портфель. Во-вторых, Талейран ясно видел, что все равно из этого ничего не выйдет, что ультрароялисты слишком ненавидят Фуше, залитого кровью их родных и друзей, и что кабинет, в котором находится «цареубийца» Фуше, не может быть прочен при полном неистовом разгуле дворянской реакции и воинствующей клерикальной агитации. По всем этим соображениям герцог Беневентский решительно пожелал отделаться от герцога Отрантского. Совершенно неожиданно для себя Фуше получил назначение французским посланником в Саксонию. Он уехал в Дрезден. Но, выбросив этот балласт, Талейран все-таки не спасся от кораблекрушения. Ровно через пять дней после назначения Фуше в Дрезден, Талейран затеял давно подготовлявшийся принципиальный разговор с королем. Он хотел просить у короля свободы действий для борьбы против безумных эксцессов крайне реакционной партии, явно подрывавших всякое доверие к династии. Он закончил свою речь внушительным ультиматумом: если его величество откажет министерству в своей полной поддержке «против всех», против кого это понадобится, то он, Талейран, подает в отставку. И вдруг король на это дал неожиданный ответ: «Хорошо, я назначу другое

министерство». Случилось это 24 сентября 1815 года, — и на этом оборвалась служебная карьера князя Талейрана на пятнадцать лет.

Для отставленного так внезапно министра это было полнейшей неожиданностью, вопреки всему тому, что он пишет в своих мемуарах, придавая своей отставке вид какого-то патриотического подвига и связывая ее ни с того ни с сего с отношениями Франции к ее победителям. Дело было не в том, и Талейран лучше всех, конечно, понял, в чем корень событий. Людовик XVIII, старый, больной, неподвижный подагрик, хотел только одного: не отправляться в третий раз в изгнание, умереть спокойно королем и в королевском дворце. Он был настолько умен, что понимал правильность воззрений Талейрана и опасность для династии белого террора и безумных криков и актов ультрареакционной партии. Но он должен был считаться с этою партией хоть настолько, чтобы не раздражать ее такими соотрудниками, как Фуше или Талейран.



*Рисунок 36. Уличный бой в Париже во время революции 1830 г.
(Литография Виктора Адама)*

Нужна была талейрановская политика, но делаемая не руками Талейрана. Талейран не хотел замечать, что его-то самого еще больше ненавидят, чем Фуше, что большинство ультрароялистов (да и большинство во всех других партиях) охотно повторяет слова Жозефа де Местра: «Из этих двух людей Талейран более преступен, чем Фуше». Если Фуше был лишним балластом для Талейрана, то сам Талейран был лишним балластом для короля Людовика XVIII. Вот почему Фуше не успел еще выехать в Дрезден, как удаливший его Талейран сам оказался выброшенным за борт. При отставке он получил придворное звание великого

камергера, с жалованьем в сто тысяч франков золотом в год и с «обязанностью» заниматься чем угодно и жить, где ему заблагорассудится. Он, впрочем, и при Наполеоне тоже имел это самое звание (наряду со всеми другими своими званиями и титулами), и при Наполеоне обязанности эти были столь же мало обременительны и еще более щедро оплачивались.

Освободившись от министерства, Талейран занялся вплотную давно им обдуманной операцией, о которой до последних лет, точнее до 15 декабря 1933 года, когда некоторые секретные документы были во Франции опубликованы, никто не знал. 12 января 1817 года князь Талейран, оказывается, написал секретнейшее письмо Меттерниху, канцлеру Австрийской империи. Он сообщал, что «унес» (emporté) в свое время из архивов министерства иностранных дел часть подлинной корреспонденции Наполеона, начиная с возвращения завоевателя из Египта и кончая 1813 годом. Так вот, не угодно ли купить?

Между продавцом и покупателем затеялась переписка. Талейран писал, что Россия, или Пруссия, или Англия дали бы полмиллиона франков золотом, но он, Талейран, любит Австрию и, в частности, Меттерниха. Товар — первосортный: «двенадцать объемистых пакетов», собственноручные подписи Наполеона! А главное — императору Францу уже потому следует не скупиться, что там есть неприятные для Австрии вещи, и, купив документы, австрийское правительство — так советует Талейран — «могло бы или похоронить их в глубине своих архивов или даже уничтожить». Сделка состоялась, и Талейран продал за полмиллиона эти украденные им лично архивные документы. Украл он их заблаговременно, в 1814 и 1815 годах, когда мимолетно побывал дважды во главе правительства.

Но, понимая вполне отчетливо, что совершает настоящую государственную измену, соединенную уже с прямой уголовщиной, воровством казенного имущества, князь Талейран предусмотрительно требует от Меттерниха, чтобы ему, Талейрану, был обеспечен приют в Австрии, если, например, его постигнут во Франции какие-нибудь неприятности и он должен будет без потери времени покинуть отечество.

Меттерних согласился на все и все уплатил сполна. А уже потом, когда все это краденое добро было вывезено из Франции (под видом неподлежащих осмотру австрийских посольских бумаг) и прибыло в Вену, австрийский канцлер мог убедиться, что продавец и его тоже отчасти надул: многие документы оказались вовсе не подлинниками, а копиями, без подписи Наполеона. Но в таких деликатных случаях кому же будешь

жаловаться? Укрыватель и скупщик всегда рискует пострадать, если вор и сбытчик склонен к лукавству. На том дело и кончилось.

III

Талейран удалился в частную жизнь. Громадное богатство, великолепный замок в Валансэ, великолепный дворец в городе, царственная роскошь жизни — вот что ждало его на закате дней. Безделье не очень тяготило его. Он и никогда вообще не любил работы. Он давал руководящие указания своим подчиненным в министерстве, своим послам, наконец, своим министрам, когда был первым министром. Он давал советы государям, которым служил, — Наполеону, Людовику XVIII; делал это в интимных разговорах с глазу на глаз. Он вел свои дипломатические переговоры и интриги иной раз за обеденным столом, иной раз на балу, иной раз в перерыве карточной игры; он достигал главных результатов именно при разных обстоятельствах той светской, полной развлечений жизни, которую всегда вел.

Но работа терпкая, ежедневная, чиновничья была ему неведома и ненужна. Для этого существовал штат опытных подчиненных ему сановников и чиновников, секретарей и директоров. Теперь, в отставке, так же как и в годы своей опалы при Наполеоне, он внимательно наблюдал за политической шахматной доской и за ходами партнеров, сам же до поры до времени не принимал участия в игре. И он видел, что Бурбоны продолжают подкапывать свое положение, что единственный между ними человек с головою, Людовик XVIII, изнемогает в своей безуспешной борьбе против крайних реакционеров, что, когда король умрет, на престол попадет легкомысленный старик, Карл д'Артуа, который не только не станет противиться планам восстановления старого режима, но еще сам охотно возьмет на себя инициативу, потому что у него нехватит ума понять страшную опасность этой безнадежной игры, этого нелепого и невозможного поворачивания истории вспять, нехватит даже того инстинкта самосохранения, который один только и мешал его старшему брату Людовику XVIII вполне примкнуть к ультрароялистам.

Отойдя от активной политики, Талейран засел за мемуары. Он написал пять томов (имеющихся в сокращенном русаком переводе). С чисто биографической стороны эти пять томов почти никакого интереса для нас не представляют. Окажем здесь лишь несколько слов об этом произведении Талейрана.

Мемуары буржуазных деятелей, игравших очень уж первостепенную роль, редко бывают сколько-нибудь правдивы. Это весьма понятно: ав-

тор, знающий свою историческую ответственность, стремится построить свой рассказ так, чтобы мотивировка его собственных поступков была по возможности возвышенной, а там, где их никак нельзя истолковать в пользу автора, можно постараться и вовсе отречься от соучастия в них. Словом, о многих мемуаристах этого типа можно повторить то, что Анри Рошфор в свое время сказал по поводу воспоминаний первого министра конца Второй империи, Эмиля Оливье: «Оливье лжет так, как если бы он до сих пор все еще был первым министром». Лучшим из новейших образчиков такого рода литературы могут послужить девять томов воспоминаний покойного Пуанкаре (готовилось еще десятка полтора, судя по принятому масштабу и по известному трудолюбию автора). Все девять томов Пуанкаре — почти оплошное, по существу, повторение патриотической казенщины, печатавшейся в эпоху нескольких его министерств и его президентуры.

Мемуары Талейрана имеют некоторое преимущество, во-первых, в том, что они, хотя, правда, после первоначальных явственных колебаний, предназначались лишь для потомства и ни в коем случае не должны были появиться при жизни автора (они впервые вышли в 1891 году, то-есть спустя пятьдесят три года после смерти Талейрана). Во-вторых, как я уже отмечал, Талейран понимал, что, действуя на мировой арене, оказав несколько раз громадное влияние на ход дел в самые решающие исторические моменты, проявляя всегда абсолютную беззастенчивость и не пытаясь даже оправдываться почти ни в чем впоследствии, — он и не может рассчитывать, что ему будут очень верить в его мемуарах. Поэтому он избрал такой метод. Он прежде всего загрозил свои мемуары перепечаткою официальных документов или служебных и полуслужебных донесений, которые он составлял за время своей активной политической жизни. Затем он просто обошел молчанием все те случаи, где лгать было бы совсем бесцельно вследствие слишком уж большой известности и твердой установленности бесспорных фактов. Конечно, по этой причине мемуары должны были неминуемо очень много потерять в своем внешнем интересе. В самом деле: вспомнил, кого только не видел, с кем только не имел дела этот человек! «Он говорил о себе самом, что он — великий поэт и что он создал трилогию из трех династий: первый акт — империя Бонапарта, второй акт — дом Бурбонов, третий акт — Орлеанский дом. Он сделал все это в своем дворце, и, как паук в своей паутине, он последовательно привлекал в этот дворец и забирал героев, мыслителей, великих людей, завоевателей, королей, принцев, императоров, Бонапарта, Сийеса, госпожу Сталь, Шатобриана, Бенжамена Констана, Александра российского, Фридриха-Вильгельма прусского,

Франца австрийского, Людовика XVIII, Луи-Филиппа и всех золотых и блестящих мух, которые жужжат в истории последних сорока лет», так писал о нем Виктор Гюго через несколько дней после его смерти. Талейран сравнительно мало говорит о них всех, — значительно меньше, чем мог бы сказать.

И при всех этих недостатках его мемуары — необходимая часть того «железного фонда» исторической литературы, который желательно иметь интересующемуся историей человеку.

Именно потому, что Талейран об очень многом умолчал, мы можем с несколько большим доверием отнестись к тому, о чем он говорит. Ведь он умалчивал о таких событиях, о которых заведомо для него знали все на свете, и потому своим умалчиванием он не стремился их «скрыть», а просто давал понять, что не хочет о них распространяться. Говорил же он лишь о том, о чем, по его мнению, еще можно спорить, что еще можно пытаться осветить в благоприятном для него свете и что, быть может, и в глубине души он считал несколько не зазорным для своей чести.

Талейран в своем завещании сделал полной распорядительницей всех своих бумаг свою племянницу, герцогиню Дино, причем обусловил, чтобы его мемуары были опубликованы не раньше чем спустя тридцать лет после его смерти. После смерти герцогини Дино бумаги перешли, по ее завещанию, к Бокуру, который и принялся готовить их к печати. Умирая, он завещал эти бумаги двум светским дилетантам, к которым присоединился впоследствии и академик герцог Бройль, известный лидер французских легитимистов и министр в начале Третьей республики. Бройль и приготовил окончательно к печати эти мемуары, первый том которых появился в Париже в феврале, второй и третий — в июне, а четвертый и пятый — в октябре 1891 года.

Теперь уже может считаться вполне установленным, что все свои воспоминания, относящиеся к эпохе от первых лет своей жизни вплоть до своей отставки в сентябре 1815 года, Талейран написал в эпоху Реставрации, и едва ли не больше всего именно в первые годы Реставрации. Затем в мемуарах следует глубокий провал, ровно ничего не говорится о годах отставки, и затем — непосредственный переход к Июльской революции 1830 года и к последней фазе активной деятельности Талейрана — к его пребыванию в качестве Посла Луи-Филиппа в Лондоне в 1830–1834 годах. Эта часть написана, очевидно, в 1835–1837 годах, так как в 1838. году он часто болел и уже не мог работать.

Что касается первой части, то на ней очень явственно отразилась эпоха, когда Талейран писал ее. Он принимает тон человека, всегда в душе скорбевшего об ошибках и злоключениях «законной» династии

Бурбонов, — тон умеренно либерального аристократа, который лишь скрепя сердце, чтобы по мере сил спасти отечество, стал служить и Учредительному собранию, и Законодательному собранию, и Директории, и Наполеону, личные же его душевные предпочтения были (хочет он внушить читателю) всегда на стороне Бурбонов. С этой нотой вполне гармонируют и две другие, также очень слышные в первой части мемуаров: Талейран с удовольствием останавливается на старорежимных бытовых подробностях, которые помнит с детства, предаётся горделивым размышлениям о том, что невозможно не аристократу играть ту же роль, быть так поставленным в глазах населения, как поставлены люди старинных дворянских родов; с другой стороны, он настойчиво обращает внимание читателя на то, как он до революции отстаивал права и преимущества церкви, споря против светской власти, желавшей наложить на церковь более тяжёлые поборы. Ясно, что он, думая о публике 1815–1816 и следующих годов, имел в виду прикинуться совсем их чело- веком, со всеми дворянскими и даже, отчасти, клерикальными симпатиями, свойственными тогдашней торжествовавшей реакции. Мы можем по некоторым признакам судить, что он не сразу отказался от мысли печатать свои мемуары ещё при жизни. Ясно, что он некоторое время думал о том именно читателе, который задавал тон при Реставрации, и именно в первые ее годы.

Это у него отразилось не только на заведомо-лживой оценке собственной своей роли и мотивов своих действий при революции и империи, но и на умышленном почти полном умолчании о самых важных событиях (вроде секвестра, по его предложению, всех земельных имуществ церкви в 1789 году и т. д.). Посвящая особую главу свиданию императоров Наполеона и Александра в Эрфурте, он только беглым и глухим намеком говорит о своих изменнических деяниях в тот момент. Помяная мельком о казни герцога Энгийенского, он внушает читателю мысль о полнейшей своей моральной непричастности к этому событию. Говоря о 1814–1815 годах, он представляет дело так, что, кроме как о спасении отечества, он ни о чем не думал. И чтобы окончательно замаскировать перед читателем свою инициативную роль в расстреле герцога Энгийенского, он не забывает (правда, ни к селу ни к городу) прибавить, что именно принц Конде (то-есть отец расстрелянного герцога Энгийенского) поздравлял его с результатами Венского конгресса. Он забывает прибавить, что это поздравление было им получено значительно позже, и именно после того, как он бесстыдно обманул принца Конде и этой беззастенчивой ложью оправдался в его глазах.

Впрочем, читатель, ознакомившись с моей характеристикой Талейрана, без труда разберется в причинах, почему автор мемуаров о многом предпочитает вовсе не говорить, а о многом говорит не то и не так, как было.

И, тем не менее, без этих мемуаров не может обойтись ни один историк Франции эпохи конца старого режима, революции, империи, Реставрации, Июльской революции, монархии Луи-Филиппа, так же как ни один историк европейской дипломатии в этот период. Они полны важных деталей, тонких замечаний и оценок как лиц, так и событий. В этих томах выгодно сказывается отмеченная мною характерная черта Талейрана: отсутствие мстительности, происходящее, правда, от способности и склонности не столько ненавидеть, сколько презирать людей.

Его мемуары не носят характера боевого памфлета, написанного для посрамления врагов и наказания обидчиков, как аналогичные книги Тирпица или Клемансо, или леди Асквит, или графа Витте, или Бурьена, или Бисмарка. Напротив, к тем, кто умер или уже не может ему помешать, он относится со спокойствием и равнодушием, которые вообще были ему свойственны. Наконец, в его мемуарах есть неуловимая, но очень важная черта, которая свойственна только тем, кому пришлось самим быть главными актерами исторической драмы: Талейран как-то интимно, можно было бы сказать, фамильярно, рассказывает о великих исторических событиях, реальное сцепление фактов само собою выявляется под его пером. Этому даже отчасти способствует та небрежность, та скупость на самостоятельный труд, которые тоже были всегда очень заметны в этом человеке. «Не слишком усердствуйте», учил он молодых дипломатов. «Тот, кто придумал бы его величеству императору Наполеону немножко лени (*un peu de paresse*), был бы благодетелем человечества», говорил со вздохом Талейран в эпоху самого расцвета «великой империи», своеобразно и в пародийном плане предвосхищая толстовскую идею «неделания». Талейран полагал, что иногда не спешить, уметь выжидать, не очень вмешиваться, вообще поменьше работать — единственно полезная тактика. Он и в мемуарах своих скуп на работу. Он явно почти не обрабатывал этих набросков и стремился быть как можно лаконичнее и поскорее перейти к «бумагам за номером», за которыми, очевидно, по его мнению, можно и от потомства укрыться как-то надежнее.



*Рисунок 37: Баррикады на улице Эшель в Париже во время революции 1830 г.
(литография Свебаха).*

Для предлагаемого анализа жизни и деятельности Талейрана я, конечно, лишь в самой ничтожной степени использовал эти пять томов мемуаров. Для читателя несравненно интереснее не то, о чем говорит Талейран, во то, о чем он совершенно умалчивает, — и я основал свою работу сплошь на совсем другого рода источниках. Я старался из необъятной массы фактов выбрать и проанализировать лишь те, которые считал наиболее характерными и показательными. Но писание мемуаров не очень князя развлекало. Он еще вовсе не хотел сдавать себя в архив.

Талейран в последние годы Реставрации, конечно, хотел вернуться к власти, брюзжал, ругал, и даже весьма публично, министров, за что как-то на три месяца в виде наказания был «лишен двора», то-есть ему было воспрещено появляться в Тюильри (несмотря на сан великого камергера). Он иронизировал над глупостью и бездарностью правящих лиц, острил, составлял эпиграммы. Он давал понять, где нужно, что он незаменим. Но его не взяли. Судя по разным признакам, он уже тогда полагал, что час падения Бурбонов не весьма далек. Он их никогда не только не любил (он никого не любил), но и не уважал, как он, например, уважал Наполеона, и он видел, что Бурбоны и их приверженцы стремятся к цели, по-своему ничуть не менее фантастической, чем «всемирная монархия» их грозного предшественника на престоле Франции.

Талейран отчетливо сознавал, что дворянство как класс ранено насмерть еще Великой буржуазной революцией и не только уже никогда не воскреснет, но заразит трупным ядом самую династию. Видел он, что и «со стороны», извне, никто Бурбонов не предупредит и не спасет. Та-

лейран в эти годы иронически-сожалительно говорил о «голове бедного императора Александра», набитой контрреволюционными бреднями и запуганной Меттернихом. Еще в 1814 году Александр понимал, что Бурбоны погибнут, если не примирятся с новой Францией, но в двадцатых годах он уже перестал об этом говорить. Любопытно, что в эти годы Реставрации Талейран всегда вспоминал Наполеона со сдержанным почтением и при случае любил делать сопоставления, мало выигрышные для преемников императора. Байроновское чувство к Наполеону, выразившееся в словах: «Затем ли свергнули мы льва, чтоб пред волками преклоняться?», не находило себе, конечно, никакого отзвука в сухой и ничего общего с романтизмом не имеющей душе Талейрана, но он, поскольку думал об историческом имени своем, о своей исторической репутации (он, впрочем, не очень много по сему поводу кручинился), постольку сознавал, что историческое бессмертие обеспечено прежде всего тем, кто связал свою деятельность с деятельностью этого «раздавателя славы», как выразился о Наполеоне русский партизан 1812 года Денис Давыдов. И князь, составляя как раз в эти годы свои мемуары, особенно настойчиво подчеркивал, что если бы Наполеон не начал вести губительную для него самого и для Франции необузданно завоевательную политику, то никогда бы он, Талейран, не перестал верой и правдой служить императору.

Пока что, со времени смерти Людовика XVIII и восшествия на престол Карла X в 1824 году, князь Талейран начал сближаться с вождями либерально-буржуазной оппозиции — Ройе-Колларом, Тьером, историком Минье. Дело явно шло к катастрофе, и новый король очертя голову устремлялся к пропасти. Талейран, принимая и угощая в своих великолепных дворцах в Париже и в Валансэ вождей буржуазной оппозиции, с которыми считал теперь полезным сблизиться, в то же время бывал и у короля. Но он с Карлом X уж совсем не стеснялся, именно потому, что ждал со дня на день его гибели. «Тот король, которому угрожают, имеет лишь два выбора: трон или эшафот», сказал однажды Талейрану Карл X, любивший повторять, что только уступки погубили в свое время Людовика XVI. «Вы забываете, государь, третий выход: почтовую карету», ответил Талейран, который, предвидя, что Бурбоны вскоре перестанут царствовать, охотно допускал, что на этот раз дело обойдется без гильотины, а кончится лишь изгнанием династии.

С 1829 года Талейран начал сближаться и с тем принцем королевского дома, которого либеральная буржуазия прочила на престол в случае свержения Карла X, — с герцогом Луи-Филиппом Орлеанским, потому что установления республики буржуазный класс в его целом, так же как

особенно деревенская его часть — собственническое крестьянство, определенно боялись и не хотели. 8 августа 1829 года Карл X назначил первым министром Жюля Полиньяка, который никогда и не скрывал, что стремится к восстановлению всей полноты королевской власти, как к первому шагу по пути нужных «реформ» в государстве. Другими словами, следовало ждать нападения на конституцию, государственного переворота с целью в дальнейшем воскрешения феодально-абсолютистского строя.

Талейран твердо знал, что Карл X погибнет на этой попытке лишить буржуазию и крестьянство того, что им дала революция. Что рабочему классу революция гораздо меньше дала, а Наполеон и Бурбоны отняли и то, что она дала, и что рабочие теперь впервые после прерияля 1795 года начинают проявлять стремление к активности и непременно поддержат любое восстание, даже если оно начнется не по их инициативе, — этого Талейран не предвидел. Но даже и без этого шансы династии спастись, в случае если будет произведена попытка государственного переворота со стороны короля, были довольно сомнительны. Полиньяк еще менее блистал умственными качествами, чем Карл X, еще меньше короля по-



*Рисунок 38: Карл X
(гравюра Шарона с рис. Шарля Обри).*

нимал, что он шутит с огнем, но отличался эмоциональностью и узколобым реакционным фанатизмом, который повелительно требовал немедленных военных действий против всех, несогласно с ним мыслящих.

Либеральная буржуазия, чувствуя за собою всю силу, твердо решила сопротивляться. В кабинете у Талейрана собрались вожди либералов: Тьер, Минье и Арман Каррель. Дело было в декабре 1829 года. Решено было основать новый, резко оппозиционный орган (знаменитую газету «Le National») для решительной борьбы против Полиньяка и, если понадобится, против династии Бурбонов. На совещаниях этих трех молодых деятелей либеральной буржуазии председательствовал хозяин дома, вельможа старорежимного двора, бывший епископ, присутствовавший и при коронации Людовика XVI, и при коронации Наполеона, и при коронации этого самого Карла X, человек, служивший и старому режиму, и революции, и Наполеону, и опять Бурбонам, посадивший в 1814 году Бурбонов на престол во имя «принципа легитимизма». Теперь он готовился способствовать их же свержению во имя принципа революционного сопротивления «легитимному» королю... В его кабинете родился таким образом самый радикальный из органов буржуазной оппозиции, какие только прославились борьбой против Полиньяка и стоявшего за ним короля в эти последние месяцы пребывания Бурбонов на французском престоле. Эти молодые деятели, вроде Тьера, взирали на величавую фигуру семидесятишестилетнего больного и хромого старика с большим почтением: слишком уж много, — как никто из еще живших тогда людей, — был он овеян воспоминаниями о величайших исторических событиях, в которых играл роль, с которыми так или иначе навеки соединил свое имя.

Талейран еще до революции был связан довольно сложными отношениями с герцогом Орлеанским («Филиппом Эгалитэ»), казненным потом в годы террора. Теперь, в 1829–1830 годах, он очень усердно поддерживал отношения с сыном его, Луи-Филиппом, и с сестрою Луи-Филиппа, Адelaideю. Он знал, что оппозиционная буржуазия прочит Луи-Филиппа на престол в случае низвержения «старшей линии» Бурбонов, то-есть Карла X (герцоги Орлеанские были «младшею линиею» Бурбонов).

Больной, глубокий старик не желал сдаваться смерти. Он все еще думал о будущем, о новой карьере, все еще копал яму врагам и расчищал дорогу друзьям; а его друзьями всегда были те, кого исторические силы несли в данный момент на высоту. Его предвидение и на этот раз его не обмануло...

Он был в Париже, в великолепных чертогах своего городского дворца, когда, наконец, Полиньяк и король решились и издали фактически уничтожившие конституцию знаменитые ордонансы 25 июля 1830 года. Революция на другой день уже, 26-го, казалась несомненной; она вспыхнула 27 июля и в три дня снесла прочь престол Карла X. Личный секретарь Талейрана, Кольмаш, был в эти дни при князе. Ежеминутно поступали новые и новые известия о битве между революцией и войсками. Слушая грохот выстрелов и звуки нагата, несшиеся со всех колоколен, Талейран сказал Кольмашу: «Послушайте, бьют в набат! Мы побеждаем!» — «Мы?? Кто же именно, князь, побеждает!» — «Тише, ни слова больше: я вам завтра это скажу».

Этот характерный для Талейрана разговор происходил 28 июля.

На другой день битва кончилась. Революция победила. Династия Бурбонов снова — и на этот раз уже навеки — была низвергнута с французского престола.

Глава четвертая

**ТАЛЕЙРАН ПРИ
ИЮЛЬСКОЙ МОНАРХИИ**

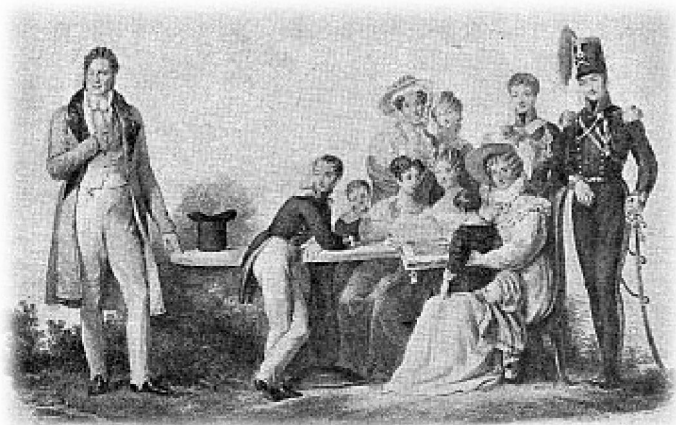
Еще 29 июля, как раз когда те войска, которые еще не перешли на сторону революции, начали свое отступление из города, Талейран послал записку сестре Луи-Филиппа, герцога Орлеанского, с советом не терять ни минуты и немедленно встать во главе революции, свергавшей в этот момент старшую линию династии Бурбонов.

Авторитет князя Талейрана — как политического пророка, твердо знающего ближайшее политическое будущее, — был так колоссален, что именно после этого совета Талейрана новый кандидат в короли прибыл в Париж (из Ренси, где он находился). Мало того. Когда 31 июля, собравшись в Палэ-Рояле, оппозиционные депутаты предложили Луи-Филиппу временное звание «главного наместника королевства», но с тем, чтобы он немедленно объявил о полном своем разрыве с Карлом X и вообще со старшею линиею, то Луи-Филипп заколебался; он уже знал, что Карл X накануне, 30 июля, отрекся от престола и передал свои права маленькому своему внуку, графу Шамбору, а его, Луи-Филиппа, назначает опекуном и тоже «главным наместником», — следовательно, ему предстояло либо стать «главным наместником» по назначению Карла X и опекуном до совершеннолетия «законного» короля, либо сразу порвать с «легитимной» монархией и принять корону из рук победившей буржуазной революции, потому что «наместничество», принятое не от короля Карла, а от оппозиции, было прямым шагом к восшествию на престол.

В нерешимости пред этим выбором Луи-Филипп заявил депутатам, что даст им ответ, лишь посоветовавшись с Талейраном. Он спешно отрядил к старому князю генерала Себастьяни, чтобы тот спросил у Талейрана: что ему, Луи-Филиппу, делать? Князь сейчас же ответил: «принять», то-есть принять престол из рук победившей революции, отвернуться навсегда от «принципа легитимизма», ловко пользуясь которым этот самый князь Талейран за шестнадцать лет до того посадил на престол ныне свергаемых опять при его же деятельном участии Бурбонов. Совет Талейрана покончил со всеми колебаниями: спустя девять дней, 9 августа 1830 года, Луи-Филипп Орлеанский был торжественно провозглашен королем.

В первые же дни нового царствования обнаружилось, что хотя только что победившая Июльская революция была окончательной и уж самой бесспорной победой буржуазии над аристократией, но что есть на свете один аристократ, самый подлинный и чистокровный, без которого ни в каком случае торжествующая буржуазия не может обойтись: это был все тот же князь Талейран-Перигор, больной семидесятишестилетний ста-

рик на костылях, которого газеты уже неоднократно хоронили. И не только потому он вдруг снова оказался на первом плане, что с обычной своей дальновидностью успел во-время, задолго до июля 1830 года, тесно сблизиться с будущими победителями, с Луи-Филиппом, Аделаидой, Тьером, но и потому, что работа его головы потребовалась и показалась незаменимой Луи-Филиппу, как она казалась необходимой и Учредительному собранию, и Директории, и Наполеону, и Бурбонам, и снова Наполеону (предложение императора в эпоху «Ста дней»), и снова Бурбонам — после «Ста дней».



*Рисунок 39: Луи-Филипп Орлеанский со своей семьей
(литография Александра Фрагонара).*

Положение Луи-Филиппа было на первых порах не легким, в особенности же перед лицом иностранных держав. Ни для кого не было тайною, что русский царь Николай I решительно стоит за интервенцию, прямо направленную к свержению «короля баррикад» Луи-Филиппа и восстановлению Бурбонов на престоле, откуда они только что были изгнаны. Известно было даже, что царь отправил в Берлин генерала Дибича, чтобы ускорить соглашение с Пруссией об общем вторжении во Францию. Некоторое время царь упорно носился с мыслью о «непризнании» Луи-Филиппа королем. При этих условиях Луи-Филиппу необычайно важно было заручиться дипломатической поддержкой Англии. После Июльской революции Франция оказывалась в опаснейшей для себя степени изолированной. Чтобы покончить с этой изоляцией, новый король и новое правительство обратились именно к Талейрану. С

изумлением Европа прочла через месяц с небольшим после Июльской революции, что князь Талейран назначается французским послом в Лондон. При официальной встрече его фрегата загремели салюты дуврских береговых батарей, — и Талейран не может отказать себе в удовольствии припомнить именно по этому поводу, как он уезжал из Англии в 1794 году — гонимым, нищим, преследуемым интригами французских роялистов, высылаемым из Англии по приказу полиции...

Положение его в Лондоне вскоре стало самым блестящим, какое только можно себе вообразить.

С одной стороны, консерваторы и все высшее общество видели в нем представителя самой подлинной (а в Англии эта «подлинность» крайне тогда и даже много позже ценилась) родовой аристократии; вместе с тем вспоминали, что никто больше, чем он, и красноречивее, чем он, не говорил на Венском конгрессе о легитимизме. Вспоминали также, что всегда, еще с 1792 года, он был сторонником дружбы с Англией. Что теперь он взялся за роль посла Луи-Филиппа, который «узурпировал» при помощи революции престол у той же «легитимной» династии Бурбонов, — это обстоятельство Талейран крайне ловко повернул в свою пользу: уж если он, он сам, легитимист из легитимистов, можно сказать, выдумавший этот самый легитимизм в 1814 году, теперь от него отрекся и стал на сторону «короля баррикад», то ведь, значит же, были крайне важные причины! Значит, не выдержало прямое и честное сердце правдивого князя Талейрана негодования по поводу клятвопреступного поведения Карла X, нарушившего конституцию, коей присягал! Особенно огорчало прямодушного князя это нарушение присяги королем Карлом. Что касается вигов, либералов, представителей английской либеральной буржуазии, которой суждено было спустя всего полтора года, в 1832 году, добиться «мирной революции», то-есть парламентской реформы, то эти люди приветствовали с восторгом Талейрана, официального посла этой самой победившей уже во Франции либеральной буржуазии и ее короля Луи-Филиппа. Толпы народа бежали за каретою Талейрана с криками «ура» по лондонским улицам, едва лишь его замечали и узнавали.

С другой стороны, и герцог Веллингтон, глава кабинета, был очарован Талейраном, который умел, как никто, вкрадываться в душу тех людей, кто был ему необходим. Веллингтон возмущался и не постигал, почему всегда — вот уже больше пятидесяти лет сряду — и, главное, все люди без исключения так злобно клеветуют на Талейрана, тогда как это честнейший и благороднейший человек? Талейран и не таких, как герцог Веллингтон, водил и окручивал, а Веллингтон и не таким, как Талейран, поддавался.

Но и вообще с Талейраном было бы трудно в тот момент справиться: великолепно оценив положение Англии, видя, что рабочие демонстрации, статьи и речи либеральной оппозиции, растерянность короля и правительства явно грозят Англии революционным взрывом и предвещают этот взрыв, старый князь сразу — там, где и когда было нужно и уместно, — принял личину истинного «посла от революции», даже стал охотно поминать свое поведение в Учредительном собрании в 1789–1791 годах, словом, добился того, что лондонская рабочая масса при встречах во время частых тогда шествий и скоплений громовыми криками приветствовала трехцветный флажок на французской посольской карете и трехцветные кокарды на шляпах служащих посольства. Кричали: «Да здравствует французская революция!» А иногда прибавляли: «Да здравствует Талейран!» Все импонировало в Талейране, даже особенно то, что он долго был министром Наполеона и что тот очень ценил его ум.

Талейран заметил, что вообще после Июльской революции очень усиливается так называемая «наполеоновская легенда» и в Европе, и во Франции, и сейчас же этим воспользовался. При столкновениях своих по службе он высокомерно ставил на вид министрам Луи-Филиппа, графу Моле и другим, что он так работал при императоре и что сам император его научил работать именно вот так, а не иначе. В Лондоне дом французского посольства сделался местом самых пышных приемов и блестящих балов; никто из всего дипломатического корпуса не пользовался в тот момент такой силой и разнохарактерной, если можно так выразиться, но огромной популярностью в самых разнообразных слоях английского общества, как князь Талейран. Как только Николай I узнал о назначении Талейрана послом в Лондон, он через Нессельроде дал знать во Франции, что он признал Луи-Филиппа. И Николай, и вся Европа увидели в этом назначении, а главное, в согласии Талейрана принять это назначение признак прочности нового французского престола.

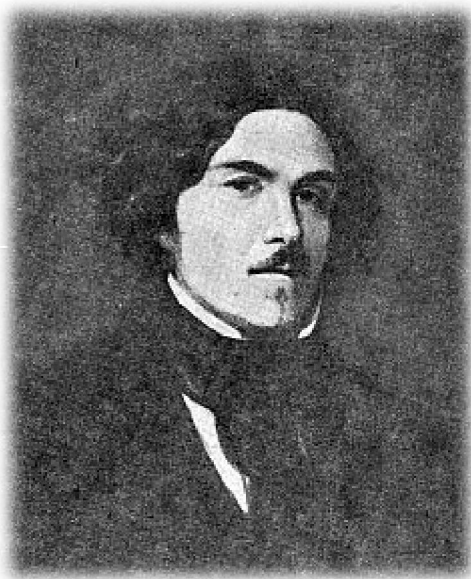
В течение нескольких месяцев Талейрану удалось установить тесный контакт между Францией и Англией, да и вообще фактически заправлял французской внешней политикой он, а не парижские министры, с которыми он не всегда удастоивал даже переписываться о делах, но, к величайшему их раздражению, сносился прямо с королем Луи-Филиппом или сестрой короля, Аделаидой. Министры жаловались королю, но тот настолько нуждался в своем лондонском после, что все жалобы ни к чему не приводили.

Главное (и очень трудное) дело, которое сделал Талейран во время своего пребывания на посту посла Луи-Филиппа в Лондоне, было образование Бельгийского королевства. Бельгийская революция, вспыхнув-

шая сейчас же вслед за Июльской и приведшая к фактическому отпадению Бельгии от Голландии, которой бельгийцы были подчинены помимо своей воли со времени Венского конгресса, являлась причиной жестокого беспокойства для Франции. Николай I, Австрия, Пруссия желали интервенции с целью возвращения Бельгии под власть голландского короля. В самой Франции боролись два течения: одни желали присоединения Бельгии к Франции, другие — установления новой, самостоятельной державы — Бельгийского королевства. Польское восстание, вспыхнувшее в ноябре 1830 года, надолго лишило Николая свободы рук в бельгийском вопросе, и Талейран очень искусно этим воспользовался.

Присоединение Бельгии к Франции он отверг, правда, после некоторых колебаний (о которых он в мемуарах своих умалчивает). Он знал, что Англия непременно воспротивится такому решению вопроса. Он выдвинул и стал отстаивать образование самостоятельного Бельгийского государства. Это ему и удалось после долгих и трудных усилий на Лондонской конференции европейских держав, созванной по его настоянию.

На него жестоко нападали французские патриоты (а таковыми в осо-



*Рисунок 40: Эжен Делакруа, сын Талейрана
(портрет работы Шанмартена)*

бенности были тогда республиканцы) за то, что он не желает присоединять Бельгию к Франции, тогда как сами бельгийцы будто бы этого хотят. «Воплощенная ложь, живое клятвopеступление, нераскаянный Иуда, он продал всех — бога, республику, императора, королей», так воспевали его в стихах и в прозе французские оппозиционные органы в 1831–1832 годах, когда проходило бельгийское дело. Печатались и распространялись в Париже бесчисленные карикатуры на него (в эти же годы и тоже по поводу Бельгии), причем под его изображениями помещались такие «объявления»: «Талейран, по прозвищу подсолнечник (всегда поворачивается к солнцу), фабрикует намордники, цепи и цензуры, составляет остроты, эпиграммы, программы и эпитафии, продает и покупает короны, как новые, так и по случаю, делает конституции, хартии, реставрации, имеет на складе кокарды, знамена и ленты всех цветов. Согласен также на выезд за границу».

Талейран окончательно укрепился на том, что лишь в союзе с Англией можно разрешить бельгийский вопрос так, чтобы Бельгия была освобождена от Голландии, а союз с Англией в этом деле возможен лишь при условии, чтобы Франция не покушалась на самостоятельность бельгийцев. Одного Талейран ни за что не хотел допускать: это возвращения Бельгии под голландское владычество. Наконец, ему удалось, несмотря на упорное сопротивление России, Австрии и Пруссии, достигнуть признания самостоятельности Бельгии. И сейчас же он потребовал от нового бельгийского правительства уничтожения всех крепостей, построенных на французской границе голландским правительством после Венского конгресса, для чего великие державы дали Голландии в свое время на нужные расходы сорок пять миллионов франков. Эта цепь крепостей должна была служить обеспечением от Франции. Теперь, по требованию Талейрана, бельгийское правительство срыло укрепления.

Этот блистательный успех талейрановской дипломатии настолько возвысил его, что шла речь о назначении его первым министром (после смерти Казимира Перье в мае 1832 года), но старый князь решил, что в Лондоне ему будет спокойнее. В 1832 году ему пришлось провести новое дело: тайно подстрекаемый Николаем I, голландский король решил силою сопротивляться постановлению держав и не уступить Антверпен, еще бывший в его власти. Тогда Талейран вошел в особое соглашение с Пальмерстоном, и французская армия, войдя в Бельгию, осадила Антверпен с суши, а английский флот блокировал его с моря. Конечно, Антверпен очень скоро сдался. Талейран этим нанес пощечину всему тому, что еще оставалось от «Священного союза»; три абсолютные монархии,

несмотря на все угрозы свои, не посмели двинуть ни одного полка на помощь голландскому королю.

Совсем недавно (в 1936 году) опубликованные документы голландского государственного архива обнаружили, что Талейран умудрился даже и тут, в Лондоне, создавая независимую Бельгию, ведя, казалось бы, совсем непримиримо враждебную политику против Нидерландов, получить от того же нидерландского короля взятку в десять тысяч фунтов стерлингов! Получил он ее за некоторые поблажки в пользу Голландии при окончательном определении границ между Голландией и Бельгией, за некоторые уступки территориального и финансового характера, сделанные им в пользу Голландии за счет Бельгии. Это совсем новое документальное открытие поразило удивлением историков, которых, казалось бы, уже ничто не могло увидеть в князе Талейране. Миллионер, чрезвычайный и полномочный представитель Франции, старик на краю могилы, продолжал брать и брать совсем ему уже ненужные взятки, — очевидно, просто по привычке, как другие до старости отдаются любимому спорту, — как Гладстон, например, до восьмидесяти лет рубил дрова или как философ Кант до глубокой старости в любую погоду совершал свою ежедневную прогулку.

Талейран упорно настаивал перед королем Луи-Филиппом и всеми министрами, менявшимися за время его лондонского посольства, что спасение Франции и особенно династии Луи-Филиппа — именно в теснейшем союзе с Англией. Ему удалось вскоре (в апреле 1834 года) подписать даже конвенцию с Англией, Испанией и Португалией по ряду крайне важных вопросов. Дипломаты даже враждебных держав изумлялись энергии и дарованиям восьмидесятилетнего хилого старика. Дарья Христофоровна Ливен, жена русского посла князя Ливена, бывшая значительно умнее своего супруга и, вследствие этой своей особенности, получившая поручение лично, без посредства мужа, систематически доводить до сведения Николая обо всем, что творится в Лондоне, писала своему родному брату, генералу Бенкендорфу, шефу жандармов, о князе Талейране по поводу его блистательных дипломатических достижений в это время: «Вы не поверите, сколько добрых и здравых доктрин у этого последователя всех форм правления, у этого олицетворения всех пороков. Это любопытное создание; многому можно научиться у его опытности, многое получить от его ума; в восемьдесят лет этот ум совсем свеж... Но это — большой мошенник, — *c'est un grand coquin*», настаивает княгиня Ливен.

II

Старик слабел физически. В конце ноября 1834 года он упросил Луи-Филиппа дать ему отставку. Князь Талейран, по его собственному выражению, за время пребывания на посту посла в Лондоне успел «дать Июльской революции право гражданства в Европе», укрепил престол Луи-Филиппа, создал самостоятельное Бельгийское королевство. В семьдесят шесть лет он начал этот последний перегон своего долгою и замечательного пути и в восемьдесят лет окончил его.

Он удалился в свой великолепный замок Валансэ, превосходивший размерами и неслыханной роскошью дворцы многих монархов в Европе. И здесь, спокойно, без излишнего любопытства и бесполезных волнений, как и все, что он делал в жизни, он стал ждать прихода той непреодолимой силы, для борьбы против которой даже и его хитрости было недостаточно (по злорадному предвкушению одного из враждебных ему публицистов). «Я ни счастлив, ни несчастлив... — писал он в эти последние годы своей жизни. — Я понемногу слабею и... хорошо знаю, как все это должно кончиться. Я этим не огорчаюсь и не боюсь этого. Мое дело кончено. Я насадил деревья, я выстроил дом, я наделал много и других еще глупостей. Не время ли кончить?» Жена его умерла. У него постоянно жила его племянница, герцогиня Дино, интимный и самый близкий для него человек. Детей «законных» за ним не числилось. Сын его от госпожи Делакруа, знаменитый уже с двадцатых годов гениальный французский художник Эжен Делакруа, мало общался с отцом.

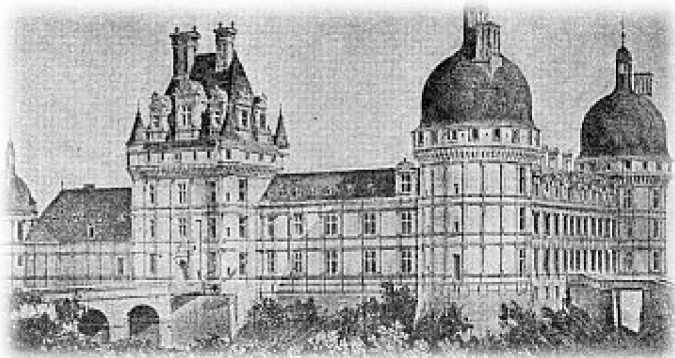


Рисунок 41: Общий вид замка Валансэ.

Но Талейран и сам искал в эти последние свои годы полного уединения и покоя. Его корыстолюбие уже давным-давно было удовлетворено,

честолюбие его не мучило. После окончательного ухода от дел он прекратил даже игру на бирже. В газетах, журналах, отдельных памфлетах, иллюстрациях постоянно поминалось его имя, оценивалась его долгая деятельность, отдельные фазисы этого изумительного существования. Но князь не читал большинства из этих бесчисленных статей, — а когда и читал, никогда на них не возражал и вообще никак не реагировал.

Обошел он молчанием и ту знаменитую характеристику свою, которую прочел во второй октябрьской книжке «Revue des deux mondes» за 1834 год; эта статья принадлежала перу уже входившей тогда в славу Жорж-Санд и называлась «Князь». Фамилия не была названа, но изложение было более чем прозрачным. Курьезно, что самая статья была вызвана посещением замка Валансэ, куда Жорж-Санд и Альфред Мюссэ явились для осмотра его достопримечательностей (Талейран разрешал путешественникам осматривать его прославленные по всему свету роскошные палаты, хоть и не допускал никого в свои жилые комнаты). На Жорж-Санд пахнуло в этих великолепных залах князя Талейрана такими трагическими воспоминаниями, что она не воздержалась от самой резкой филиппики: «Никогда это сердце не испытывало жара благородного деяния, никогда честная мысль не проходила чрез эту неутомимую голову; этот человек — исключение в природе, он — такая редкостная чудовищность, что род человеческий, презирая его, все-таки созерцал его с глупым восхищением». Ей ненавистна даже наружность Талейрана: презрительное, надменное и вызывающее выражение его лица; она все думает и думает о его прошлом и о том, почему все властители Франции в нем нуждались: «Какие же кровавые войны, какие общественные бедствия, какие скандальные грабительства он предупредил? Значит, так уж он был необходим, этот сластолюбивый лицемер, если все наши монархи, от гордого завоевателя до ограниченного ханжи, навязывали нам позор и стыд его возвышения».

Талейран привык к такому тону; о нем редко писали иначе при его жизни, в те периоды, конечно, когда французская пресса была сколько-нибудь свободна. И всегда наблюдалась раздвоенность в настроении пишущих: полнейшее, безусловное, безоговорочное презрение к характеру — и столь же безусловное преклонение пред колоссальными умственными средствами, проявленными на дипломатическом поприще. Талейран по-прежнему очень философски относился ко всему, что писалось о нем, и даже эта портретная живопись Жорж-Санд совсем ненадолго и очень немного его огорчила.

Жорж-Санд судила Талейрана с исключительно моральной точки зрения. Почти одновременно с ней высказался о Талейране молодой

блестящий публицист германской радикальной буржуазии Людвиг Бёрне, который отрицает даже самую разумность чисто моралистического подхода в данном случае. Он оценивает лишь объективные результаты деятельности знаменитого дипломата, — и оценивает их высоко. Читатель найдет это замечательное место в тридцать седьмом письме Бёрне из Парижа, от 24 февраля 1831 года.³

«...Наконец Талейран. Я никогда его не видел даже на портрете. Бронзовое лицо, мраморная доска, на которой железными буквами написана необходимость. Я никогда не мог понять, почему люди всех времен так не понимали этого человека! Что они порицали его, это хорошо, но слабо; добродетельно, но неразумно; эти порицания делают честь человечеству, но не людям. Талейрана упрекали за то, что он последовательно предавал все партии, все правительства. Это правда: он от Людовика XVI перешел к Республике, от нее — к Директории, от последней — к Консульству, от Консульства — к Наполеону, от него — к Бурбонам, от них — к Орлеанам, и, может быть, до своей смерти от Луи-Филиппа снова перейдет к Республике. Но он вовсе не предавал их всех: он только покидал их, когда они умирали. Он сидел у одра болезни каждого времени, каждого правительства, всегда щупал их пульс и прежде всех замечал, когда их сердце прекращало свое биение. Тогда он спешил от покойника к наследнику, другие же продолжали еще короткое время служить трупу. Разве это измена? Потому ли Талейран хуже других, что он умнее, тверже и подчиняется неизбежному? Верность других длилась не больше, только заблуждение их было продолжительнее. К голосу Талейрана я всегда прислушивался, как к решению судьбы. Мне еще помнится, как я испугался, когда, после возвращения Наполеона с Эльбы, Талейран остался верен Людовику XVIII. Это предвещало мне гибель Наполеона. Я обрадовался, когда он объявил себя сторонником Орлеанских: из этого я заключил, что Бурбонам конец. Мне хотелось, чтобы этот человек жил у меня в комнате: я бы приставил его, как барометр, к стене и, не читая газет, не отворяя окна, каждый день знал бы, какова погода на свете».

Для буржуазного публициста того времени повсеместная и полная победа буржуазии — в одних странах раньше, в других позднее — именно и была неизбежным роком, велением исторических судеб, которое с самого начала своей деятельности правильно угадал Талейран.

Оценку себе пытался давать и сам Талейран. «Знаете ли вы, дорогой мой, — сказал он (за два года до смерти) Тьеру, — что я всегда был чело-

³ В только что вышедшем очень хорошем переводе «Парижских писем», изданном Гослитиздатом в Москве (1938), оно помещено на стр. 148–149.

веком, наиболее в моральном отношении дискредитированным, какой только существовал в Европе за последние сорок лет, и что, однако, я всегда был либо всемогущим у власти, либо накануне возвращения к власти?»

В своем предсмертном политическом завещании он прибавлял: «Я ничуть не упрекаю себя в том, что служил всем режимам, от Директории до времени, когда я пишу», потому что «я остановился на идее служить Франции, как Франции, в каком бы положении она ни была». Конечно, его противники и позднейшие критики заявляли, что подобными фразами нельзя было бы успокоить совесть, если бы она у Талейрана была в самом деле в наличности.

Но слова, сказанные Тьеру, несомненно, выражали искренно философию князя Талейрана. И он, с самого начала своей карьеры поставивший ставку на буржуазию и против того класса, к которому по рождению, по воспитанию, по вкусам, по связям, по манерам сам принадлежал, всегда выигрывал, потому что в этот исторический период буржуазия всегда побеждала и ничто ей не могло противиться, — и всегда он был нужен, потому что и у буржуазии не было в распоряжении много таких голов, как сидевшая на плечах князя Талейрана. А что его при этом будут ругать, — это он знал наперед и знал, что сколько бы ни ругали, а без него не обойдутся. Знал (и предсказал) политическое могущество Тьера, в те времена молодого либерального министра, но уже имевшего за собою при всем своем либерализме зверское усмирение восстания республиканцев в 1834 году. Талейран знал, что буржуазия еще очень долго будет прочно «сидеть в седле», в том седле, в котором он сам ей помогал усаживаться, и еще очень долго будет в состоянии роскошно награждать своих слуг. А Тьер уже резней на улице Транснонэн во время усмирении восстания в 1834 году явно обещал в будущем, в случае надобности, превратить весь Париж как бы в одну сплошную улицу Транснонэн (что в самом деле и исполнил при подавлении Коммуны в мае 1871 года). Следовательно, Тьеру могло предстоять блестящее будущее, не хуже талейрановского прошлого: хозяином и для престарелого аристократа и для молодого выходца из мелкой марсельской буржуазии являлся один и тот же общественный класс. Талейран служил этому буржуазному классу в его борьбе против дворянства. Тьер служил этому же классу в его борьбе против пролетариата. И Талейран, преуспевший карьерист, приветствовал в лице Тьера карьериста, которому суждено преуспеть, потому что Тьер тоже поставил жизненную свою ставку на «хорошую лошадь».

Но если говорить о сравнении этих двух так несхожих во многом людей, то нужно признать, что для Тьера дело буржуазии было делом не только карьерным, но, так сказать, кровным, классовое чувство было сильнее в нем, потому что он был сам буржуа с ног до головы. А Талейран только со стороны нанялся, так сказать, к буржуазии, был как бы кондотьером, отдавшим за плату свои силы тому классу, который, по его предвидению, должен был скорее победить и щедрее заплатить; сам же он с ног до головы, по привычкам, вкусам, мироощущению, оставался всегда, до могилы, старорежимным вельможей и, как в шекспировском короле Лире «каждый вершок был король», так в князе Талейране каждый вершок был аристократ.

Для Тьера, как и для Лафитта, как и для Гизо и для всего их поколения, буржуазия была венцом мироздания и цветом человечества, а буржуазная Июльская революция была окончательной и восхитительной, идеальной развязкой, точкой, которую всеблагое провидение поставило в книге судеб. Для Талейрана же буржуазия была только тем классом, для которого как раз в тот момент, когда вот он, Талейран, живет и действует, условия оказались очень благоприятны, почему и следует именно работать и идти с этим классом, а не против него. А революция 1830 года, с точки зрения политической философии старого дипломата, была лишь одним из эпизодов французской истории, за которым в свое время последуют другие эпизоды, очень может быть совсем противоположного характера по своим результатам. Но об этих далеких будущих событиях Талейран не любил рассуждать. Да он и не забывал, что ему перевалило за восемьдесят и что уж во всяком случае для него-то лично Июльская революция, конечно, будет последней, которую ему суждено было увидеть.

Весной 1838 года болезненное состояние восьмидесятичетырехлетнего старика резко ухудшилось. Он пред самой смертью, по настоянию своей племянницы, примирился с католической церковью и получил «отпущение грехов», чем, в глазах верующих, должен был спасти свою многогрешную душу от совсем уже готовых ухватить ее когтей дьявола. «Князь Талейран всю свою жизнь обманывал бога, а пред самой смертью вдруг обманул сатану» — таково было чье-то широко распространившееся в те дни суждение об этом неожиданном, курьезном «примирении» абсолютно ни во что не веровавшего старого вольтерьянца и насмешливого циника, отлученного некогда от церкви бывшего епископа отенского с римским папой и с католической религией.

17 мая 1838 года король Луи-Филипп со своей сестрой прибыл проститься с умирающим, который поражал всех совершеннейшим своим

спокойствием и успел даже отпустить Луи-Филиппу коснеющим языком какой-то изящный царедворческий комплимент.

Спустя несколько часов после королевского визита князь Талейран скончался.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение.....	2
ГЛАВА ПЕРВАЯ. ТАЛЕЙРАН ПРИ СТАРОМ ПОРЯДКЕ И РЕВОЛЮЦИИ.....	9
I.....	10
II.....	13
III.....	17
IV.....	21
V.....	35
ГЛАВА ВТОРАЯ. ТАЛЕЙРАН ПРИ КОНСУЛЬСТВЕ И ИМПЕРИИ.....	51
I.....	52
II.....	62
III.....	67
IV.....	74
ГЛАВА ТРЕТЬЯ. ТАЛЕЙРАН ПРИ РЕСТАВРАЦИИ I.....	84
I.....	85
II.....	95
III.....	102
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. ТАЛЕЙРАН ПРИ ИЮЛЬСКОЙ МОНАРХИИ.....	112
I.....	113
II.....	120